

Николай Семёнович Лесков

Праведники



Николай Лесков

Праведники

«Public Domain»

Лесков Н. С.

Праведники / Н. С. Лесков — «Public Domain»,

История создания цикла «Праведники» такова. Однажды Н.С.Лескова обвинили в том, что он во всех соотечественниках видит лишь одни гадости и мерзости. Тогда писатель дал обет: найти среди «грешных» мира сего кристально чистого человека, праведника, показать величие русской души. И стал Лесков «искать праведных» по всей земле русской: в столицах и в глуши, в преданьях старины и в газетных сводках, среди разных сословий и укладов. И нашел их – бескорыстных чудаков и мастеров-самоучек, мучеников и страдальцев, человеколюбцев и философов...

© Лесков Н. С.

© Public Domain

Содержание

<Предисловие>	6
Однодум	8
Глава первая	8
Глава вторая	10
Глава третья	12
Глава четвертая	13
Глава пятая	16
Глава шестая	18
Глава седьмая	20
Глава восьмая	22
Глава девятая	24
Глава десятая	26
Глава одиннадцатая	27
Глава двенадцатая	28
Глава тринадцатая	32
Пигмей	33
Глава первая	34
Глава вторая	36
Глава третья	37
Глава четвертая	39
Глава пятая	40
Глава шестая	41
Глава седьмая	43
Кадетский монастырь	44
Глава первая	44
Глава вторая	45
Глава третья	46
Глава четвертая	48
Глава пятая	49
Глава шестая	51
Глава седьмая	52
Глава восьмая	54
Глава девятая	55
Глава десятая	56
Глава одиннадцатая	57
Глава двенадцатая	59
Глава тринадцатая	61
Глава четырнадцатая	62
Глава пятнадцатая	63
Глава шестнадцатая	64
Глава семнадцатая	65
Глава восемнадцатая	67
Глава девятнадцатая	68
Глава двадцатая	69
Глава двадцать первая	70
Глава двадцать вторая	71

Прибавление к рассказу о кадетском монастыре	72
Русский демократ в Польше	74
Глава первая	75
Глава вторая	77
Глава третья	79
Глава четвертая	80
Глава пятая	83
Глава шестая	84
Глава седьмая	85
Глава восьмая	87
Несмертельный Голован	88
Глава первая	88
Глава вторая	89
Глава третья	91
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Николай Лесков

Праведники

<Предисловие>

«Без трех праведных несть граду стояния»

При мне в сорок восьмой раз умирал один большой русский писатель. Он и теперь живет, как жил после сорока семи своих прежних кончин, наблюдавшихся другими людьми и при другой обстановке.

При мне он лежал, одинок во всю ширь необъятного дивана и приготовлялся диктовать мне свое завещание, но вместо того начал браниться,

Я могу без застенчивости рассказать, как это было и к каким повело последствиям.

—

Смерть писателю угрожала по вине театрально-литературного комитета, который в эту пору бестрепетною рукою убивал его пьесу. Ни в одной аптеке не могло быть никакого лекарства против мучительных болей, причиненных этим авторскому здоровью.

— Душа уязвлена и все кишки попутались в утробе, — говорил страдалец, глядя на потолок гостиничного номера, и потом, переводя их на меня, он неожиданно прикрикнул:

— Что же ты молчишь, будто черт знает чем рот набил. Гадость какая у вас, питерцев, на сердце: никогда вы человеку утешения не скажете; хоть сейчас на ваших глазах испускай дух.

Я был первый раз при кончине этого замечательного человека и, не поняв его предсмертной истомы, сказал ему:

— Чем мне вас утешить? Скажу разве одно, что всем будет чрезвычайно прискорбно, если театрально-литературный комитет своим суровым определением прекратит драгоценную жизнь вашу, но...

— Ты недурно начал, — перебил писатель, — продолжай, пожалуйста, говорить, а я, может быть, усну.

— Извольте, — отвечал я, — итак, уверены ли вы, что вы теперь умираете?

— Уверен ли? Говорю тебе, что помираю!

— Прекрасно, — отвечаю, — но обдумали ли вы хорошенько: стоит ли это огорчение того, чтобы вы кончились?

— Разумеется, стоит; это стоит тысячу рублей, — простонал умирающий.

— Да, к сожалению, — отвечал я, — пьеса едва ли принесла бы вам более тысячи рублей и потому...

Но умирающий не дал мне окончить: он быстро приподнялся с дивана и вскричал:

— Это еще что за гнусное рассуждение! Подари мне, пожалуйста, тысячу рублей и тогда рассуждай как знаешь.

— Да я, — говорю, — почему же обязан платить за чужой грех?

— А я за что должен терять?

— За то, что вы, зная наши театральные порядки, описали в своей пьесе всех титулованных лиц и всех их представили одно другого хуже и пошлее.

— Да-а; так вот каково ваше утешение. По-вашему небось все надо хороших писать, а я, брат, что вижу, то и пишу, а вижу я одни гадости.

— Это у вас болезнь зрения.

— Может быть, — отвечал, совсем обозлясь, умирающий, — но только что же мне делать, когда я ни в своей, ни в твоей душе ничего, кроме мерзости, не вижу, и за то суще мне господь

бог и поможет теперь от себя отворотиться к стене и заснуть со спокойной совестью, а завтра уехать, презирая всю мою родину и твои утешения.

И молитва страдальца была услышана: он «сущее» прекрасно выспался и на другой день я проводил его на станцию; но зато самим мною овладело от его слов лютое беспокойство.

«Как, – думал я, – неужто в самом деле ни в моей, ни в его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто все доброе и хорошее, что когда-либо заметил художественный глаз других писателей, – одна выдумка и вздор? Это не только грустно, это страшно. Если без трех праведных, по народному верованию, не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одной дрянью, которая живет в моей и твоей душе, мой читатель?»

Мне это было и ужасно, и несносно, и пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число трех праведных, без которых «несть граду стояния», но куда я ни обращался, кого ни спрашивал – все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видывали, потому что все люди грешные, а так, кое-каких хороших людей и тот, и другой знавали. Я и стал это записывать. Праведны они, думаю себе, или неправедны, – все это надо собрать и потом разобрать: что тут возвышается над чертою простой нравственности и потому «свято господу».

И вот кое-что из моих записей.

Однодум

Глава первая

В царствование Екатерины II, у некоторых приказного рода супругов, по фамилии Рыжовых, родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличе, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарю кн. Гагарина, значится семь каменных церквей, два духовные и одно светское училище, семь фабрик и заводов, тридцать семь лавок, три трактира, два питейные дома и 3665 жителей обоего пола. В городе бывают две годовые ярмарки и еженедельные базары; кроме того, значится «довольно деятельная торговля известью и дегтем». В то время, когда жил наш герой, здесь еще были соляные варницы.

Все это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил мелкотравчатый герой нашего рассказа Алексашка, или, впоследствии, Александр Афанасьевич Рыжов, по уличному прозвищу «Однодум».

Родители Алексашки имели собственный дом – один из тех домиков, которые в здешней лесной местности ничего не стоят, но, однако, дают кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было, или по крайней мере о них мне ничего не сказано.

Приказный умер вскоре после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, который, как сказано, «ничего не стоил». Но вдова-приказничиха сама дорого стоила: она была из тех русских женщин, которая «в беде не сробеет, спасет; коня на скаку остановит, в горящую избу взойдет», – простая, здравая, трезвомысленная русская женщина, с силою в теле, с отвагой в душе и с нежною способностью любить горячо и верно.

Когда она овдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода, и к ней кое-кто засылала свах, но она отклонила новое супружество и стала заниматься печением пирогов. Пироги изготовлялись по скоромным дням с творогом и печенкою, а по постным – с кашею и горохом; вдова выносила их в ночвах на площадь и продавала по медному пятаку за штуку. От прибыли своего пирожного производства она питала себя и сына, которого отдала в науку «мастерице»; мастерица научила Алексашку тому, что сама знала. Дальнейшую же, более серьезную науку преподавал ему дьяк с косою и с кожаным карманом, в коем у него без всякой табакерки содержался нюхательный порошок для известного употребления.

Дьяк, «отучив» Алексашку, взял горшок каши за выучку, и с этим вдовый сын пошел в люди добывать себе хлеб-соль и все определенные для него блага мира.

Алексашке тогда было четырнадцать лет, и в этом возрасте его можно отрекомендовать читателю.

Молодой Рыжов порою удался в мать: он был рослый, плечистый, – почти атлет, необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отроческие годы он был уже первый силач и так удачно предводительствовал стеною на кулачных боях, что на которой стороне был Алексашка Рыжов, – та считалась непобедимою. Он был досуж и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк, которым он написал старухам множество заупокойных поминаний и тем положил начало самопитания. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему его мать, сообщившая живым примером строгое и трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был, как мать, умерен во всем и никогда не прибегал ни к чьей посторонней помощи.

В четырнадцать лет он уже считал грехом есть материн хлеб; поминания приносили немного, и притом заработок этот, зависящий от случайностей, был непостоянен; к торговле Рыжов питал врожденное отвращение, а оставить Солигалич не хотел, чтобы не разлучаться

с матерью, которую очень любил. А потому надо было здесь же промыслить себе занятие, и он его промыслил.

В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения: между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые *носили* суму с пакетами. Это называлась пешая почта. Плата за эту службу назначалась не великая: рубля полтора в месяц «на своих харчах и при своей обуви». Но для кого и такое содержание было заманчиво, те колебались взяться носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным: не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь еретического и противного истинному христианству?

Всякий, кому довелось о том слышать, – раздумывал, как бы не истравить этим душу и за мзду временную не потерять жизнь вечную. И тут-то вот общее сердоболие устроило Рыжовкина Алексашку.

– Он, – говорили, – сирота: ему больше господь простит, – особенно по ребячеству. Ему, если его на поноске дорогою медведь или волк задерет и он на суд предстанет, одно отвечать: «не разумел, господи», да и только.

И в ту пору взять с него нечего. А если да он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти и все преотлично отмолить, да еще не за своей свечой и при чужом ладане. Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшего?

Сам Алексашка, которого это касалось всех более, был от мира не прочь и на мир не челобитчик: он смелою рукою взял почтовую суму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигалича в Чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре: он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Бориса или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка, – не поэтическая, а философская, и из него вышел только замечательный чудак «Однодум». Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали; почтовая сума до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой сумы, всегда носил с собою еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние.

Книга эта была Библия.

Глава вторая

Мне неизвестно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспрестанно таская суму и Библию, но, кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конною, а Рыжову «вышел чин». После этих двух важных в жизни нашего героя событий в судьбе его произошел большой перелом: охочий ходок с почтою, он уже не захотел ездить с почтарем и стал искать себе другого места, – опять непременно там же, в Солигаличе, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела и, притупев зрением, стала хуже печь свои пироги.

Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень не скоро, например лет за двенадцать, – надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет двадцать шесть или даже немножко более, и во все это время он только ходил взад и вперед из Солигалича в Чухлому и на ходу и на отдыхе читал одну только свою Библию в затрапезном переплете. Он начитался ее вволю и приобрел в ней большие и твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения.

Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исаию, широкое богословие которого отвечало его душевной настроенности и составляло весь его катехизис и все богословие.

Старый человек, знавший во время своей юности восьмидесятипятилетнего Рыжова, когда он уже прославился и заслужил имя «Однодума», говорил мне, как этот старик вспоминал какой-то «дуб на болоте», где он особенно любил отдыхать и «кричать ветру».

– Стану, – говорит, – бывало, и воплю встречу воздуху:

«Позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего, а людие мои неразумеша. Семя лукавое; сыны беззакония! Что еще уязвляетесь, прилагая неправды! Всякая глава в болезнь, – всякое сердце в плач. – Что ми множество жертв ваших: тука агнцов и крови юниц и козлов не хочу. Не приходите явитися ми. И аще принесете ми семидал – всуе; кадило мерзость ми есть. Новомесячий ваших, и суббот, и дне великого не потерплю: поста, и праздности, и новомесячий ваших, и праздников ненавидит душа моя. – Егда прострете руки ваши ко мне, отвращу очи мои от вас, и аще умножите моления, – не услышу вас. Измойтесь, отымите лукавство от душ ваших. Научитесь добро творити, и приидите истяжемся, и аще будут грехи ваши яко багряное – убелю их яко снег. Но князи не покоряются, – общницы татем любяще дары, гоняще воздаяние – сего ради глаголет Саваоф: горе крепким, – не престанет бо ярость моя на противныя».

И выкрикивал сирота-мальчуган это «горе, горе крепким» над пустынным болотом, и мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаии и отнесет туда, где виденные Иезекиилем «сухие кости» лежат, не шевелятся; не нарастает на них живая плоть, и не оживает в груди истлевшее сердце.

Его слушал дуб и гады болотные, а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе, – по его словам: «дышал любовью и дерзновением».

Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места, не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте.

Под тем же дубом, над тем же болотом, где Рыжов выкрикивал словами Исаии «горе крепким», он дождался духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это посвящение и пронес его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое.

Впереди нас ожидает довольно образцов его задохнувшейся в тесноте удивительной силы и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его, как рыцаря, рыцарскою наградю.

Глава третья

В ту отдаленную пору, к которой восходит передаваемый мною рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что, по понятию многих русских людей, каждый городничий был «третье лицо в государстве». Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего – монарха разветвлялась так: первое лицо в государстве – государь, правящий всем государством; за ним второе – губернатор, который правит губернией, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третье – городничий, «сидящий на городе». Исправников тогда еще не было, и потому о них в разделении власти суждения не полагали. Так это оставалось, впрочем, и впоследствии: исправник был человек разъездной, и он сек только сельских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии и, кто их ни сек, – одинаково ногами перебирали.

Введение новых судебных учреждений, ограничившее прежнюю теократическую полноправность сельских администраторов, испортило это, особенно в городах, где оно значительно содействовало падению не только городнического, а даже губернаторского престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно, – по крайней мере для городничих, высокий уряд которых заменен новшеством.

Но тогда, когда обдумывал и решал свою судьбу «Однодум» – все это было еще в своем благоустроенном порядке. Губернаторы сидели в своих центрах, как царьки: доступ к ним был труден, и предстояние им «сопряжено со страхом»; они всем норовили говорить «ты», все им кланялись в пояс, а иные, по усердию, даже земно; протопопы их «сретали» с крестами и святою водою у входа во храмы, а подрукавная знать чествовала их выражением низменного искательства и едва дерзала, в лице немногих избранных своих представителей, просить их «в приемники к купели». И они, даже когда соглашались снизить до такой милости, держали себя царственно: они не ездили крестить сами, а посылали вместо себя чиновников особых поручений или адъютантов, которые отвозили «ризки» и принимали почет «в лице пославшего». Все тогда было величественно, степенно и серьезно, под стать тому доброму и серьезному времени, часто противопоставляемому нынешнему времени, не доброму и не серьезному.

Рыжову вышла прекрасная линия приблизиться к началу градской власти и, не расставаясь с родным Солигаличем, стать на четвертую ступень в государстве: в Солигаличе умер старый кварталный, и Рыжов задумал проситься на его место.

Глава четвертая

Квартальническое место, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляло первую ступень ниже городничего, было, однако, довольно выгодно, если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого воза полено дров, пару бураков или кочан капусты; но если он не умел этого, то ему было бы плохо, так как казенного жалования по этой четвертой в государстве должности полагалось всего десять рублей ассигнациями в месяц, то есть около двух рублей восьмидесяти пяти копеек по нынешнему счету. На это четвертая особа в государстве должна была прилично содержать себя и свою семью, а как это невозможно, то каждый квартальный «донимал» с тех, которые обращались к нему за чем-нибудь «по касающемуся делу». Без этого «донимания» невозможно было обходиться, и даже сами вольтерьянцы против этого не восставали. О «неберущем» квартальном никто и не думал, и потому если все квартальные брали, то должен был брать и Рыжов. Само начальство не могло желать и терпеть, чтобы он портил служебную линию. В этом не могло быть никакого сомнения, и не могло быть о том никакой речи.

Городничий, к которому Рыжов обратился за квартальничьим местом, разумеется, не задавал себе никакого вопроса о его способности к взятке. Вероятно, он думал, что на этот счет Рыжов будет, как все другие, и потому у них особого договора на этот счет не было. Городничий принял в соображение только его громадный рост, осанистую фигуру и пользовавшуюся большою известностью силу и неутомимость в ходьбе, которую Рыжов доказал своим пешим ношением почты. Все это были качества, очень подходящие для полицейской службы, которой добивался Рыжов, – и он был сделан солигалическим квартальным, а мать его продолжала печь и продавать свои пироги на том самом базаре, где сын ее должен был установить и держать добрые порядки: блюсти вес верный и меру полную и утрясенную.

Городничий сделал ему только одно внушение:

– Бей без повреждения и по касающему моего не захватывай.

Рыжов обязался это исполнять и пошел действовать, но вскоре же начал подавать о себе странные сомнения, которые стали тревожить третью особу в государстве, а самого бывшего Алексашку, а ныне Александра Афанасьевича, доводить до весьма тягостных испытаний.

Рыжов с первого же дня службы оказался по должности ретив и исправен: придя на базар, он разместил там возы; рассадил иначе баб с пирогами, поместя притом свою мать не на лучшее место. Пьяных мужиков частью урезонил, а частью поучил рукою властно, но с приятностью, так хорошо, как будто им этим большое одолжение сделал, и ничего не взял за науку. В тот же день он отверг и приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон по касающему, и еще объявил, что ему по касающему ни от кого ничего и не следует, потому что за все его касающее ему «царь жалует, а мзду брать бог запрещает».

День провел Рыжов хорошо, а ночь провел еще лучше: обошел весь город, и кого застал на ходу в поздний час, расспросил: откуда, куда и по какой надобности? С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал, а одному-другому пьяному ухо надрал, да будошникову жену, которая под коров колдовать ходила, в кутузку запер, а наутро явился к городничему с докладом, что видит себе в деле одну помеху в будошниках.

– Проводят, – говорит, – они время в праздности и спросонья ходят без надобности, – людям по касающему надоедают и сами портятся. Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагородию в огород гряды полоть, а я один все управлю.

Городничему это было не вопреки, а домовитой городничихе совсем по сердцу; одним будошникам могло не нравиться, да закону не соответствовало; но будошников кто думал спрашивать, а закон... городничий судил о нем русским судом: «закон – что конь: куда надо – туда и вороти его». Александр же Афанасьевич выше всего ставил закон: «в поте лица твоего ешь

хлеб твой», и по тому закону выходило, что всякие лишние «приставники» – бремя ненужное, которое надо отставить и приставить к какому бы то ни было другому настоящему делу, – «потному».

И учредилось это дело, как указал Рыжов, и было оно приятно в очах правителя и народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных. А Рыжов сам ходит по городу днем, ходит один ночью, и мало-помалу везде стал чувствоваться его добрый хозяйский досмотр, и опять было это приятно в очах всех. Словом, все шло хорошо и обещало покой невозмутимый, но тут-то и беда: не свбрился народ – не кормил воевод, – ниоткуда ничто не касалось, и, кроме уборки огорода, не было правителю прибылей ни больших, ни средних, ни малых.

Городничий возмутился духом, вник в дело, увидал, что этак невозможно, и воздвиг на Рыжова едкое гонение.

Он попросил протопопу разузнать, нет ли в бескасательном Рыжове какого неправославия, но протопоп отвечал, что явного неправославия в Рыжове он не усматривает, а замечает в нем некую гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги печет и ему отделяет.

– Пресечь советую оный торг, ей ныне по сыну не подобающий, и уничтожится тогда ему оная его непомерная гордыня, и он прикоснется.

– Пресеку, – отвечал городничий и сказал Рыжову: – Твоей матери на торгу сидеть не годится.

– Хорошо, – отвечал Рыжов и взял мать с ночвами с базара, а в укориженном поведении остался по-прежнему, – не прикасался.

Тогда протопоп указал, что Рыжов не справлял себе форменного платья, и в пасхальный день, скупо похристосовавшись с одними ближними, не явился с поздравлением ни к кому из именитых граждан, на что те, впрочем, претензии не изъявляли.

Это находилось в зависимости одно от другого. Рыжов не ходил за праздничными, и потому ему не на что было обмундироваться, но обмундировка требовалась, и она была у прежнего квартального. Все видели у него и мундир с воротом, и ретузы, и сапоги с кисточкой, а этот как ходил с почтою, так и оставался в полосатом тиковом бешмете с крючками, в желтых нанковых штанах и в простой крестьянской шапке, а на зиму имел овчинный нагольный тулуп и ничего иного не заводил, да и не мог завести за 2 руб. 87 коп. месячного жалованья, на которое жил, служа верою и правдою.

К тому же произошел случай, потребовавший денег: умерла мать Рыжова, которой нечего было делать на земле после того, как она не могла на ней продавать пироги.

Александр Афанасьевич схоронил ее, по общему отзыву, «скаречно», чем и доказал свою нелюбовь. Он заплатил за нее причту по малости, но по самой-то пирожнице даже пирога не спек и сорокоуста не заказал.

Еретик! И это было тем достовернее, что хотя городничий ему не доверял и протопоп в нем сомневался, но и городничиха и протопопица за него горой стояли, – первая за пригон на ее огород бударей, а вторая по какой-то тайной причине, лежавшей в ее «характере сопротивления».

В этих особах Александр Афанасьевич имел защитниц. Городничиха сама ему послала от урожая земного две меры картофеля, но он, не развязывая мешков, принес картофель назад на своих плечах и кротко сказал:

– За усердие благодарю, а даров не приемлю. Тогда протопопица, дама мнительная, поднесла ему две коленкоровые манишки своего древнего рукоделья от тех пор, когда еще протопоп был ставленником, но чудака и этого не взял.

– Нельзя, – говорит, – дары брать, да и, одеваясь по простоте, я никакой в сем щегольстве пользы не нахожу.

Тут и сказала протопопица мужу в злости задорное слово:

– Вот бы, – говорит, – кому пристало у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным.

Протопоп осердился, – велел жене молчать, а сам все лежал да думал:

«Это новость масонская, и если я ее услежу и открою, то могу быть в большом отличии и даже могу в Петербург переехать».

Так он этим забредил и с бреду составил план, как обнажить совесть Рыжова до разделения души с телом.

Глава пятая

Подходил Великий пост, и протопоп, как на ладонке, видел, каким образом он обнажит душу Рыжова до разделения и тогда будет знать, как поступить с ним по злобе его уклонения от истин православия.

С этою целью он прямо присоветовал городничему прислать к нему на дух полосатого квартального на первой же неделе. А на духу он обещал его хорошенько пронять и, гневом Божиим припугнув, все от него выведать, что в нем есть тайного и сокровенного и за что он всего касающего чуждается и даров не приемлет. А затем сказал: «Увидим по открытому страхом виду его совести, чему он подлежать будет, и тому его и подвергнем, да спасется дух».

Помянув слова Павла, протопоп стал ждать покойно, зная, что в них кийждо своя отыскать может.

Городничий тоже сделал свое дело.

– Нам с тобой, Александр Афанасьевич, как видным лицам в городе, – сказал он, – надо в народе религии пример показать и к церкви сделать почтение.

Рыжов отвечал, что он согласен.

– Изволь же, братец, говеть и исповедаться.

– Согласен, – отвечал Рыжов.

– И как оба мы люди на виду у всех, то и на виду все это должны сделать, а не как-нибудь прячущись. Я к протопопу на дух хожу, – он всех в духовенстве опытнее, – и ты к нему иди.

– Пойду к протопопу.

– Да и иди ты на первой неделе, а я на последней пойду, – так и разделимся.

– И на это согласен.

Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти.

– Каялся, – говорит, – в одном, другом, в третьем, – во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит и ни на вас, ни на меня «по касающему» доносить не думает. А что «даров не приемлет», – то это по одной вредной фантазии.

– Все же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается?

– Библии начитался.

– Ишь его, дурака, угораздило!

– Да; начитался от скуки и позабыть не может.

– Экий дурак! Что же теперь с ним сделать?

– Ничего не сделаешь: он уже очень далеко начитан.

– Неужели до самого до «Христа» дошел?

– Всю, всю прочитал.

– Ну, значит, шабаш.

Пожалели и стали к Рыжову милостивее. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и «до Христа дочитался», с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато этакие люди что юродивые, – они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся. Впрочем, чтобы быть еще обеспеченнее насчет странного исправления Рыжова «по касающему», отец протопоп преподавал городничему мудрый, но жестокий совет, – чтобы женить Александра Афанасьевича.

– Женатый человек, – развивал протопоп, – хотя и «до Христа дочитается», но ему свою честность соблюсти трудно: жена его начнет нажигать и не тем, так другим манером так дойдет, что он ей уступит и всю Библию из головы выпустит, а станет к дарам приемчив и начальству предан.

Городничему совет пришел по мыслям, и он заказал Александру Афанасьевичу, чтобы тот как знает, а непременно женился, потому что холостые люди на политических должностях ненадежны.

– Как хочешь, – говорит, – брат, а ты мне в рассуждении всего хорош, но в рассуждении одного не годишься.

– Почему?

– Холостой.

– Что же в том за укоризна?

– В том укоризна, что можешь что-нибудь вероломное сделать и сбежать в чужую губернию. Тебе ведь теперь что? – схватил свою бибель да и весь тут.

– Весь тут.

– Вот это и неблагонадежно.

– А разве женатый благонадежнее?

– И сравненья нет; из женатого я, – говорит, – хоть веревку вей, он все стерпит, потому что он птенцов заведет, да и бабу пожалеет, а холостой сам что птица, – ему доверять нельзя. Так вот – либо уходи, либо женись.

Загадочный чудак, выслушав такое рассуждение, нимало не смутился и отвечал:

– Что же, – и женитьба вещь добрая, она от бога показана: если требуется – я женюсь.

– Но только ты руби дерево по себе.

– По себе вырублю.

– И выбирай поскорее.

– Да у меня уже выбрана: надо только сходить посмотреть, не взяли ли ее другие. Городничий над ним посмеялся:

– Ишь ты, – говорит, – греховодник, – будто за ним и греха никогда не водится, а он себе уже и жену высмотрел.

– Где грехам не водиться! – отвечал Александр Афанасьевич, – полон сосуд мерзости, а только невесту я еще не сватал, но действительно на примете имею и прошу позволения сходить на нее взглянуть.

– А где она у тебя, – не здешняя, верно, – дальняя?

– Да так, и не здешняя и не дальняя, – у ручья при болотце живет.

Городничий еще посмеялся, отпустил Рыжова и заинтересованный, ждет когда его чудак вернется и что скажет?

Глава шестая

Рыжов действительно срубил дерево по себе: через неделю он привел в город жену – ражую, белую, румяную, с добрыми карими глазами и с покорностью в каждом шаге и движении. Одетая она была по-крестьянски, и шли оба супруга друг за другом, неся на плечах коромысло, на котором висела подвязанная холщовым концом расписная лубочная коробья с приданным.

Бывалые торговые люди сразу узнали в этой особе дочь старой бабы Козлихи, что жила в одинокой избушке у ручья за болотом и слыла злою колдуньей. Все думали, что Рыжов взял себе колдунью в работницы.

Это отчасти так и было, но только Рыжов, прежде чем привести эту работницу домой, – перевенчался с нею. Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже холостой; напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потому что он, приведя в дом жену, тотчас же отпустил батрачку, которой много ли, мало ли, а все-таки платил рубль медью в месяц. С этих пор медный рубль был у него в кармане, а хозяйство пошло лучше; здоровые руки его жены никогда не были праздны: она себе и прядла и ткала, да еще оказалась мастерицею валять чулки и огородничать. Словом, жена его была простая досужая крестьянская женщина, верная и покорная, с которою библейский чудак мог жить по-библейски, и рассказать о ней, кроме сказанного, нечего.

Обращение с женою у Александра Афанасьевича было самое простое, но своеобразное: он ей говорил «ты», а она ему «вы»; он звал ее «баба», а она его Александр Афанасьевич; она ему служила, а он был ее господин; когда он с нею заговаривал, она отвечала, – когда он молчал, она не смела спрашивать. За столом он сидел, а она подавала, но ложе у них было общее, и, вероятно, это было причиною, что у них появился плод супружества. Плод был один – единственный сын, которого «баба» выкормила, а в воспитание его не вмешивалась.

Любила ли «баба» своего библейского мужа или не любила – это в их отношениях ничем не проявлялось, но что она была верна своему мужу – это было несомненно. Кроме того, она его боялась, как лица, поставленного над нею законом божеским и имеющего на нее божественное право. Мирному житию ее это не мешало. Грамоты она не знала, и Александр Афанасьевич не желал пополнять этого пробела в ее воспитании. Жили они, разумеется, спартански, в самой строжайшей умеренности, но не считали это несчастием; этому, может быть, много помогало, что и многие другие жили вокруг не в большем довольстве. Чаю они не пили и не содержали его в заводе, а мясо ели только по большим праздникам – в остальное же время питались хлебом и овощами, квасными или свежими с своего огорода, а всего более грибами, которых росло в изобилии в их лесной стороне. Грибы эти «баба» летнею порою сама собирала по лесам и сама готовила впрок, но к сожалению ее, заготавливала их только одним способом сушения. Солить было нечем. Расход на соль в потребном количестве для всего запаса не входил в расчет Рыжова, а когда «баба» однажды насолела кадочку груздей солью, которую ей подарил в мешочке откупщик, то Александр Афанасьевич, дознавшись об этом, «бабу», патриархально побил и свел к протопопу для наложения на нее епитимий за ослушание против заветов мужа, а грибы целою кадкою собственноручно прикатил к откупщикову двору и велел взять «куда хотят», а откупщику сделал выговор.

Таков был этот чудак, про которого из долготы его дней тоже рассказывать много нечего; сидел он на своем месте, делал свое маленькое дело, не пользующееся ничьим особенным сочувствием, и ничьего особенного сочувствия не искал; солигаличские верховоды считали его «поврежденным от Библии», а простецы судили о нем просто, что он «такой-некий-этакой».

Довольно неясное определение это для них имело значение ясное и понятное.

Рыжов нимало не заботился, что о нем думают; он честно служил всем и особенно не угрожал никому; в мыслях же своих отчитывался единому, в кого неизменно и крепко верил, именуя его учителем и хозяином всего сущего. Удовольствие Рыжова состояло в исполнении своего долга, а высший духовный комфорт – философствование о высших вопросах мира духовного и об отражении законов того мира в явлениях и в судьбах отдельных людей и целых царств и народов. Не имел ли Рыжов общей многим самоучкам слабости считать себя всех умнее – это неизвестно, но он не был горд, и своих верований и взглядов он никому никогда не навязывал и даже не сообщал, а только вписывал в большие тетради синей бумаги, которые подшивал в одну обложку с многозначительною надписью: «Однодум».

Что было написано во всей этой громадной рукописи полицейского философа – осталось сокрытым, потому что со смертью Александра Афанасьевича его «Однодум» пропал, да и по памяти о нем много никто рассказать не может. Едва только два-три места из всего «Однодума», были показаны Рыжовым одному важному лицу при одном необычайном случае его жизни, к которому мы теперь приближаемся. Остальные же листы «Однодума», о существовании которого знал почти весь Солигалич, изведены на оклейку стен или, может быть, и сожжены, во избежание неприятностей, так как это сочинение заключало в себе много несообразного бреда и религиозных фантазий, за которые тогда и автора и чтецов посылали молиться в Соловецкий монастырь.

Дух же этой рукописи стал известен с наступающего достопамятного в хрониках Солигалича происшествия.

Глава седьмая

Не могу с точностью вспомнить и не знаю, где справится, в котором именно году в Кострому был назначен губернатором Сергей Степанович Ланской, впоследствии граф и известный министр внутренних дел. Сановник этот, по меткому замечанию одного его современника, «имел сильный ум и надменную фигуру», и такая краткая характеристика верна и вполне достаточна для представления, какое нужно иметь о нем нашему читателю.

Можно, кажется, добавить только, что Ланской уважал в людях честность и справедливость и сам был добр, а также любил Россию и русского человека, но понимал его барственно, как аристократ, имевший на все чужеземный взгляд и западную мерку.

Назначение Ланского губернатором в Кострому случилось во время чудаческого служения Александра Афанасьевича Рыжова солигаличским квартальным, и притом еще при некоторых особенных обстоятельствах.

По вступлении Сергея Степановича в должность губернатора он, по примеру многих деятелей, прежде всего «размел губернию», то есть выгнал со службы великое множество нерадивых и злоупотреблявших своею должностью чиновников, в числе коих был и солигаличский Городничий, при котором состоял квартальным Рыжов.

По изгнании со службы негодных лиц новый губернатор не спешил замещать их другими, чтобы не попасть на таких же, а может быть, еще и на худших. Чтобы избрать людей достойных, он хотел оглядеться, или, как нынче по-русски говорят, «ориентироваться».

С этою целью должности удаленных лиц были поручены временным заместителям из младших чиновников, а губернатор вскоре же предпринял объезд всей губернии, затрепетавшей странным трепетом от одних слухов о его «надменной фигуре».

Александр Афанасьевич исправлял должность городничего. Что он делал на этом заместительстве отменного от прежних «сталых» порядков, – этого не знаю; но, разумеется, он не брал взяток на городничестве, как не брал их на своем квартальничестве. Образа жизни своей и отношений к людям Рыжов тоже не менял, – даже не садился на городнический стул перед зеркалом, а подписывался «за городничего», сидя за своим изъеденным чернилами столиком у входной двери. Этому последнему упорству Рыжов имел объяснение, находящееся в связи с апофеозом его жизни. У Александра Афанасьевича и после многих лет его службы точно так же, как и в первые дни его квартальничества, *не было форменного платья*, и он правил «за городничего» все в том же просаленном и перештопанном бешмете. А потому на представлении письмоводителя пересесть на место он отвечал:

– Не могу: хитон обличает мя, яко несть брачен.

Все это так и было записано им собственною рукою в его «Однодуме», с добавлением, что письмоводитель предлагал ему «пересесть в бешмете, но снять орла на зеркале», однако Александр Афанасьевич «оставил сию непристойность» и продолжал сидеть на прежнем месте в бешмете.

Делу полицейской расправы в городе эта неформенность не мешала, но вопрос становился совершенно иным, когда пришла весть о приезде «надменной фигуры». Александр Афанасьевич в качестве градоначальника должен был встретить губернатора, принять и рапортовать ему о благосостоянии Солигалича, а также отвечать на все вопросы, какие Ланской ему предложит, и репрезентовать ему все достопримечательности города, начиная от собора до тюрьмы, пустырей, оврагов, с которыми никто не знал, что делать.

Рыжов действительно имел задачу: как ему отбыть все это в своем бешмете? Но об этом нимало не заботился, зато много забот причиняло это всем другим, потому что Рыжов своим безобразием мог на первом же шагу прогневить «надменную фигуру». Никому и в голову не

приходило, что именно Александру-то Афанасьевичу и предстояло удивить и даже *обрадовать* всех пугавшую «надменную фигуру» и даже напроорочить ему повышение.

Вообще заботливый Александр Афанасьевич нимало не смутился, как он явится, и совсем не разделял общей чиновничьей робости, через что подвергся осуждению и даже ненависти и пал во мнении своих сограждан, но пал с тем, чтобы потом встать всех выше и оставить по себе память героическую и почти баснословную.

Глава восьмая

Не излишне еще раз напомнить, что в те недавние, но глубоко провалившиеся времена, к которым относится рассказ о Рыжове, губернаторы были совсем не то, что в нынешние лукавые дни, когда величие этих сановников значительно пало, или, по выражению некоего духовного летописца, «жестоко подвалишася». Тогда губернаторы ездили «страшно», а встречали их «притрепетно». Течение их совершалось в грандиозной суете, которой работали не только все младшие начальства и власти, но даже и чернь, и четвероногие скоты. Города к приезду губернаторов воспринимали помазание мелом, сажей и охрою; на шлагбаумы заново наводилась национальная пестрядь казенной трехцветки; бударям и инвалидам внушали «голова и усы наваксить», – из больниц шла усиленная выписка в «оздоровку». Во всеобщем оживлении участвовало все до конца земли; из деревень на тракты сгоняли баб и мужиков, которые по месяцам кочевали, чиня дорожные топи, гати и мосты; на станциях замедляли даже оглашенные курьеры и разные поручики, спешно едущие по бесчисленным казенным надобностям. Станционные зрители в эту пору отмищивали беспокойному люду свои нестерпимые обиды и с непоколебимой душевной твердостью заставляли плестись на каких попало клячах, потому что хорошие лошади «выстаивались» под губернатора. Словом, не было никому ни проходу, ни проезду без того, чтобы он не осязал каким-нибудь из своих чувств, что в природе всех вещей происходит нечто чрезвычайное. Благодаря этому тогда без всякого пустозвонства болтливой прессы всяк, стар и млад, знали, что едет тот, кого нет на всю губернию больше, и все, кто как умел, выражали по этому случаю искреннему своему разнообразным своим чувствам. Но самая возвышенная деятельность происходила в центральных гнездах уездного властелинства – в судебных канцеляриях, где дело начиналось с утомительной и скучной отметки регистров, а кончалось веселой операцией обметания стен и мытья полов. Поломойство – это было что-то вроде классических оргий в дни сбирания винограда, когда все напряженно ликовало, имея одну заботу: пожить, пока наступит час смертный. В канцелярии за небольшим конвоем кривых инвалидов доставляли из острога смертную скукою соскучившихся арестанток, которые, ловя краткий миг счастья, пользовались здесь пленительными правами своего пола – услаждать долю смертных. Декольте и маншкурт, с которыми они приступали к работе, столь возбуждительно действовали на дежуривших при бумагах молодых приказных, что последствием этого, как известно, в острогах нередко появлялись на свет так называемые «поломойные дети» – не признанного, но несомненно благородного происхождения.

В эти же дни в домах чернили парадные сапоги, белили ретузы и приготавливали слежавшиеся и поточенные молью мундиры. Это тоже оживляло город. Мундиры сначала *проवेशивали* в жаркий день на солнышке, раскидывая их на протянутых через двор веревках, что ко всяким воротам привлекало множество любопытных; потом мундиры *выбивали* прутьями, растянув на подушке или на войлочке; затем их *трясли*, еще позже их *штопали*, *утюжили* и, наконец, *раскидывали* на кресле в зале или другой парадной комнате, и в заключение всего – в конце концов их втихомолку кропили из священных бутылочек богоявленскою водой, которая, если ее держать у образа в заткнутой воском посудине, не портится от одного крещеньева дня до другого и нимало не утрачивает чудотворной силы, сообщаемой ей в момент погружения креста с пением «Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние Твое».

Исходя в сретение особ, чиновники облекались в окропленные мундиры и в качестве прочего божия достояния бывали спасаемы. Об этом есть много достоверных сказаний, но при нынешнем всеобщем маловерии и особенно при оффенбаховском настроении, царящем в чиновном мире, все это уже уронено в общем мнении и в числе многих других освященных временем вещей легкомысленно подвергается сомнению; отцам же нашим, имевшим настоящую, крепкую веру, давалось по их вере.

Ожидание губернатора в те времена длилось долго и мучительно. Железных дорог тогда еще не было, и поезда не подходили в урочный час по расписанию, подвозя губернатора вместе со всеми прочими смертными, а особо заготовлялся тракт, и затем никто не знал с точностью ни дня, ни часа, когда сановник пожалует. Поэтому истома ожидания была продолжительна и полна особенной торжественной тревожности, на самом зените которой находился очередной будочник, обязанный наблюдать тракт с самой высшей в городе колокольни. Он должен был не задремать, охраняя город от внезапного наезда; но, конечно, случалось, что он дремал и даже спал, и тогда в таких несчастных случаях бывали разные неприятности. Иногда нерадивый страж ударял в малый колокол, подпустив губернатора уже на слишком близкую дистанцию, так что не все чиновники успевали примундириться и выскочить, протопоп облачиться и стать со крестом на сходах, а иногда даже городничий не успевал выехать, стоя в телеге, к заставе. Во избежание этого сторожа заставляли ходить вокруг колокольни и у каждого пролета делать поклон в соответственную сторону.

Это служило сторожу развлечением, а обществу ручательством, что бдящий над ним не спит и не дремлет. Но и эта предосторожность не всегда помогала; случалось, что сторож обладал способностью альбатроса: он спал, ходя и кланяясь, а спросонья бил ложный всполох, приняв за губернатора помещичью карету, и тогда в городе поднималось напрасное смятение, оканчивавшееся тем, что чиновники снова размундировались и городническая тройка откладывалась, а неосмотрительного стража слегка или не слегка секли.

Подобные трудности встречались часто и преодолевались нелегко, и притом всю свою тяжесть главным образом лежали на городничем, который вперед всех выносился вскачь навстречу, первый принимал на себя начальственные взоры и взрывы и потом опять, стоя же, скакал впереди губернаторской кареты к собору, где у крыльца ожидал протопоп во всем облачении с крестом и кропилом в чаше священной воды. Здесь городничий непременно собственноручно откидывал губернаторскую подножку и этим приемом, так сказать, собственноручно выпускал прибывшую высокую особу на родимую землю из путешественного ковчега. Теперь все это уже не так, все это попорчено, и притом едва ли даже без участия самих губернаторов, в числе коих были охотники «играть на понижение». Нынче они, может быть, и каются, но что уплыло, того не воротят: подножек им никто не откидывает, кроме лакеев и жандармов.

Но исправлявший эту обязанность прежний городничий этим не стеснялся и служил для всех первым пробным камнем; он первый изведывал: лют или благостен прибывший губернатор. И, надо правду сказать, от городничего многое зависело: он мог испортить дело вначале, потому что одною какою-нибудь своею неловкостью мог разгневать губернатора и заставить его рвать и метать; а мог также одним ловким прыжком, оборотом или иным соответственным вывертом привести его превосходительство в благорасположение.

Теперь каждый, даже не знавший этих патриархальных порядков, читатель может судить, как естественна была тревога солигаличской чиновной знати, которой пришлось иметь своим представителем такого своеобразного, неуклюжего и упрямого городничего, как Рыжов, у которого, вдобавок ко всем его личным неудобным качествам, весь убор состоял в полосатом тиковом бешмете и кошлатой мужичьей шапке.

Вот что первое должно было ударить прямо в очи «надменной фигуре», о которой уже досужие языки довели до Солигалича самые страшные вести... Чего было ожидать доброго?

Глава девятая

Александр Афанасьевич действительно мог привести кого хотите в отчаяние; он ни о чем не беспокоился и в ожидании губернатора держал себя так, как будто предстоявшее страшное событие его совсем не касалось. Он не сломал ни у одного жителя ни одного забора, ничего не перемазал ни мелом, ни охрою и вообще не предпринимал никаких средств не только к украшению города, но и к изменению своего несообразного костюма, а продолжал прохаживаться в бешмете. На все предлагаемые ему прожекты он отвечал:

– Не должно вводить народ в убытки: разве губернатор изнуритель края? он пусть проедет, а забор пусть останется. – Требования же насчет мундира Рыжов отражал тем, что у него на то нет недостатков и что, говорит, имею, – в том и являюсь: богу совсем нагишом предстану. Дело не в платье, а в рассудке и в совести, – по платью встречают – по уму провожают.

Переупрямить Рыжова никто не надеялся, а между тем это было очень важно не столько для упряма Рыжова, которому, может быть, и ничего с его библейской точки зрения, если его второе лицо в государстве стонит с глаз долой в его бешмете; но это было важно для всех других, потому что губернатор, конечно, разгневется, увидя такую невидаль, как городничий в бешмете.

Дорожа первым впечатлением ожидаемого гостя, солигаличские чины добивались только двух вещей: 1) чтобы был перекрашен шлагбаум, у которого Александр Афанасьевич должен встретить губернатора, и 2) чтобы сам Александр Афанасьевич был на этот случай не в поло-сатом бешмете, а в приличной его званию форме. Но как этого достигнуть?

Мнения были различные, и более склонялись все к тому, чтобы и шлагбаум перекрасить и городничего одеть в складчину. В отношении шлагбаума это было, конечно, удобно, но по отношению к обмундировке Рыжова никуда не годилось.

Он сказал: «Это дар, а я даров не приемлю». Тогда восторжествовало над всеми предложение, которое подал зрелый в сужденье отец протопоп. Он не видал нужды ни в какой складчине ни на окраску заставы, ни на форму градоправителя, а сказал, что все должно лечь на того, кто всех провиннее, а всех провиннее, по его мнению, был откупщик. На него все должно и пасть. Он один обязан на свой собственный счет не по неволе какой, а из усердия окрасить заставу, за что протопоп обещал, сретая губернатора, упомянуть об этом в кратком слове и, кроме того, помолиться о жертвователе в тайноглаголемой запрестольной молитве. Кроме того, отец протопоп рассудил, что откупщик должен дать заседателю, сверх ординарии, тройную порцию рому, французской водки и кизлярки, до которых заседатель охоч. И пусть заседатель за то отрапортуется больным и пьет себе дома эту добавочную ординарию и на улицу не выходит, а свой мундир, одной с полицейским формы, отпустит Рыжову, от чего сей последний, вероятно, не найдет причины отказать, и будут тогда и овцы целы и волки сыты.

План этот тем более был удачен, что непремный заседатель ростом-дородством несколько походил на Рыжова, и притом, женись недавно на купеческой дочери, имел мундирную пару в полном порядке. Следовательно, оставалось только упросить его, чтобы он для общего блага к приезду начальства слег в постель под видом тяжелой болезни и сдал свою амуницию на этот случай Рыжову, которого отец протопоп, надеясь на свой духовный авторитет, тоже взялся убедить – и убедил. Не видя в этом ни даров, ни мзды, справедливый Александр Афанасьевич, для общего счастья, согласился надеть мундир. Произведена была примерка и пригонка форменной пары заседателя на Рыжова, и после некоторого выпуска со всех сторон всех запасов в мундире и в ретузах дело было приведено к удовлетворительному результату. Александр Афанасьевич хотя чувствовал в мундире весьма стеснительную связанность, но мог, однако, двигаться и все-таки был теперь сносным представителем власти. Небольшой же белый карниз между мундиром и канифасовыми ретузами положено было закрыть соответственно же

канифасовую надшивкою, которою этот карниз был удачно замаскирован. Словом, Александр Афанасьевич был снаряжен так, что губернатор мог повернуть его на все стороны и полюбоваться им так и иначе. Но злему року угодно было все это осмеять и оставить Александру Афанасьевичу надлежащую представительность только с одной стороны, а другую совсем испортить, и притом таким двусмысленным образом, что могло дать повод к самым произвольным толкованиям его и без того загадочного политического образа мыслей.

Глава десятая

Шлагбаум был окрашен во все цвета национальной пестряди, состоящей из черных и белых полос с красными отводами, и еще не успел запылиться, как пронеслась весть, что губернатор уже выехал из соседнего города и держит путь прямо на Солигалич. Тотчас же везде были поставлены махальные солдаты, а у забора бедной хибары Рыжова глодала землю резвая почтовая тройка с телегою, в которую Александр Афанасьевич должен был вспрыгнуть при первом сигнале и скакать навстречу «надменной фигуре».

В последнем условии было чрезвычайно много неудобной сложности, исполнявшей все вокруг беспокойной тревогой, которую очень не любил самообладающий Рыжов. Он решился «быть всегда на своем месте»: перевел тройку от своего забора к заставе и сам в полном наряде – в мундире и белых ретузах, с рапортом за бортом, сел тут же на раскрашенную перекладину шлагбаума и водворился здесь, как столпник, а вокруг него собрались любопытные, которых он не прогонял, а напротив, вел с ними беседу и среди этой беседы сподобился увидеть, как на тракте закружилось пыльное облако, из которого стала вырезаться пара выносных с форейтором, украшенным медными бляхами. Это катил губернатор.

Рыжов быстро спрыгнул в телегу и хотел скакать, как вдруг был поражен общим стоном и вздохом толпы, крикнувшей ему:

– Батюшка, сбрось штанцы!

– Что такое? – переспросил Рыжов.

– Штанцы сбрось, батюшка, штанцы, – отвечали люди. – Погляди-ка, на каком месте сидел, так к белому, весь шланбов припечатал.

Рыжов оглянулся через плечо и увидел, что все невысохшие полосы национальных цветов шлагбаума действительно с удивительной отчетливостью отпечатались на его ретузах.

Он поморщился, но сейчас же вздохнул и сказал: «Сюда начальству глядеть нечего» и пустил вскачь тройку навстречу «надменной особе».

Люди только руками махнули:

– Отчаянный! что-то ему теперь будет?

Глава одиннадцатая

Скороходы из этой же толпы быстро успели дать знать в собор духовенству и набольшим, в каком двусмысленном виде встретит губернатора Рыжов, но теперь уже всем было самому до себя.

Всех страшнее было протопопу, потому что чиновники притаились в церкви, а он с крестом в руках стоял на сходах. Его окружал очень небольшой причет, из коего вырезались две фигуры: приземистый дьякон с большой головой и длинноногий дьячок в стихаре с священной водою в «апликовой» чаше, которая ходуном ходила в его оробевших руках. Но вот трепет страха сменился окаменением: на площади показалась борзо скачущая тройкою почтовая телега, в которой с замечательным достоинством возвышалась гигантская фигура Рыжова. Он был в шляпе, в мундире с красным воротом и в белых ретузах с надшитым канифасовым карнизом, что издали решительно ничего не портило. Напротив, он всем казался чем-то величественным, и действительно таким и должен был казаться. Твердо стоя на скачущей телеге, на облучке которой подпрыгивал ямщик, Александр Афанасьевич не колебался ни направо, ни налево, а плыл точно на колеснице как триумфатор, сложив на груди свои богатырские руки и обдавая целым облаком пыли следовавшую за ними шестериком коляску и легкий тарантасик. В этом тарантасе ехали чиновники. Ланской помещался один в карете и, несмотря на отличавшую его солидную важность, был, по-видимому, сильно заинтересован Рыжовым, который летел впереди его, стоя, в кургузом мундире, нимало не закрывавшем разводы национальных цветов на его белых ретузах. Очень возможно, что значительная доля губернаторского внимания была привлечена именно этою странностию, значение которой не так легко было понять и определить.

Телега в свое время своротила в сторону, и Александр Афанасьевич в свое время соскочил и открыл дверцу у губернаторской кареты.

Ланской вышел, имея, как всегда, неизменно «надменную фигуру», в которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Протопоп, осенив его крестом, сказал: «Благословен грядый во имя Господне», и затем покропил его легонько священной водою.

Сановник приложился ко кресту, отер батистовым платком попавшие ему на надменное чело капли и вступил *первый* в церковь. Все это происходило на самом виду у Александра Афанасьевича и чрезвычайно ему не понравилось, – все было «надменно». Неблагоприятное впечатление еще более усилилось тем, что, вступив в храм, губернатор не положил на себя креста и никому не поклонился – ни алтарю, ни народу, и шел как шест, не сгибая головы, к амвону.

Это было против всех правил Рыжова по отношению к богопочитанию и к обязанностям высшего быть примером для низших, – и благочестивый дух его всколебался и поднялся на высоту невероятную.

Рыжов все шел следом за губернатором, и по мере того, как Ланской приближался к солее, Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между ним и собою и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес:

– Раб божий Сергей! входи во храм господень не надменно, а смиренно, представляя себя самым большим грешником, – вот как!

С этим он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в полный поклон, снова отпустил и стал навтыяжку.

Глава двенадцатая

Очевидец, передававший эту анекдотическую историю о солигаличском антике, ничего не говорил, как принял это бывший в храме народ и начальство. Известно только, что никто не имел отваги, чтобы заступиться за нагнутого губернатора и остановить бестрепетную руку Рыжова, но о Ланском сообщают нечто подробнее. Сергей Степанович не подал ни малейшего повода к продолжению беспорядка, а, напротив, «сменил свою горделивую надменность умным самообладанием». Он не оборвал Александра Афанасьевича и даже не сказал ему ни слова, но перекрестился и, оборотясь, поклонился всему народу, а затем скоро вышел и отправился на приготовленную ему квартиру.

Здесь Ланской принял чиновников – коронных и выборных и тех из них, которые ему показались достойными большего доверия, расспросил о Рыжове: что это за человек и каким образом он терпится в обществе.

– Это наш квартальный Рыжов, – отвечал его голова.

– Что же он... вероятно, в помешательстве?

– Никак нет: просто всегда *такой*.

– Так зачем же держать *такого* на службе?

– Он по службе хорош.

– Дерзок.

– Самый смиренный: на шею ему старший сядь, – рассудит: «поэтому везть надо» – и повезет, но только он много в Библии начитавшись и через то расстроен.

– Вы говорите несообразное: Библия книга божественная.

– Это точно так, только ее не всякому честь пристойно: в иночестве от нее страсть мечется, а у мирских людей ум мешается.

– Какие пустяки! – возразил Ланской и продолжал расспрашивать.

– А как он насчет взяток: умерен ли?

– Помилуйте, – говорит голова, – он совсем ничего не берет...

Губернатор еще больше не поверил.

– Этому, – говорит, – я уже ни за что не поверю.

– Нет; действительно не берет.

– А как же, – говорит, – он какими средствами живет?

– Живет на жалованье.

– Вы вздор мне рассказываете: такого человека во всей России нет.

– Точно, – отвечает, – нет; но у нас такой объявился.

– А сколько ему жалованья положено?

– В месяц десять рублей.

– Ведь на это, – говорит, – овцу прокормить нельзя.

– Действительно, – говорит, – мудрено жить – только он живет.

– Отчего же так всем нельзя, а он обходится?

– Библии начитался.

– Хорошо, «Библии начитался», а что же он ест?

– Хлеб да воду.

И тут голова и рассказал о Рыжове, каков он во всех делах своих.

– Так это совсем удивительный человек! – воскликнул Ланской и велел позвать к себе Рыжова.

Александр Афанасьевич явился и стал у притолки, иже по подчинению.

– Откуда вы родом? – спросил его Ланской.

– Здесь, на Нижней улице, родился, – отвечал Рыжов.

- А где воспитывались?
- Не имел воспитания... у матери рос, а матушка пироги пекла.
- Учились где-нибудь?
- У дьячка.
- Исповедания какого?
- Христианин.
- У вас очень странные поступки.
- Не замечаю: всякому то кажется странно, что самому не свойственно.

Ланской подумал, что это вызывающий, дерзкий намек, и, строго взглянув на Рыжова, резко спросил:

- Не держитесь ли вы какой-нибудь секты?
- Здесь нет секты: я в собор хожу.
- Исповедуетесь?
- Богу при протопопе каюсь.
- Семья у вас есть?
- Есть жена с сыном.
- Жалованье малое получаете?

Никогда не смеявшийся Рыжов улыбнулся.

- Беру, – говорит, – в месяц десять рублей, а не знаю: как это – много или мало.
- Это не много.
- Доложите государю, что для лукавого раба это мало.
- А для верного?
- Достаточно.
- Вы, говорят, никакими статьями не пользуетесь?

Рыжов посмотрел и промолчал.

- Скажите по совести: быть ли это может так?
- А отчего же не может быть?
- Очень малые средства.
- Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами обойтись можно.
- Но зачем вы не проситесь на другую должность?
- А кто же эту занимать станет?
- Кто-нибудь другой.
- Разве он лучше меня справит?

Теперь Ланской улыбнулся: квартальный совсем заинтересовал его не чуждую теплоты душу.

- Послушайте, – сказал он, – вы чужак; я вас прошу сесть.

Рыжов сел vis-a-vis с «надменным».

- Вы, говорят, знаток Библии?
- Читаю, сколько время позволяет, и вам советую.

Хорошо; но... могу ли я вас уверить, что вы можете со мною говорить совсем откровенно и по справедливости.

- Ложь заповедью запрещена – я лгать не стану.
- Хорошо. Уважаете ли вы власти?
- Не уважаю.
- За что?
- Ленивы, алчны и пред престолом криводушны, – отвечал Рыжов.
- Да, вы откровенны. Благодарю. Вы тоже пророчествуете?
- Нет; а по Библии вывожу, что ясно следует.

– Можете ли вы мне показать хоть один ваш вывод? Рыжов отвечал, что может, – и сейчас же принес целый оберток бумаги с надписью «Однодум».

– Что тут есть пророчественного о прошлом и сбывшемся? – спросил Ланской.

Квартальный перемахнул знакомые страницы и прочитал: «Государыня в переписке с Вольтером назвала его вторым Златоустом. За сие несообразное сравнение жизнь нашей монархини не будет иметь спокойного конца».

На отлинеенном поле против этого места отмечено: «Исполнилось при огорчительном сватовстве Павла Петровича».

– Покажите еще что-нибудь.

Рыжов опять заметал страницы и указал новое место, которое все заключалось в следующем: «Издан указ о попенном сборе. Отныне хлад бедных хижин усилится. Надо ожидать особенного наказания». И на поле опять отметка: «Исполнилось, – зри страницу такую-то», а на той странице запись о кончине юной дочери императора Александра Первого с отметкою: «Сие последовало за назначение налога на лес».

– Но позвольте однако, – спросил Ланской, – ведь леса составляют собственность?

– Да; а греть воздух в жилье составляет потребность.

– Вы против собственности?

– Нет; я только чтобы всем тепло было в стужу. Не надо давать лесов тем, кому и без того тепло.

– А как Вы судите о податях: следует ли облагать людей податью?

– Надо наложить, и еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтобы богатый платил казне за бедного.

– Гм, гм! вы ниоткуда это учение не почерпаете?

– Из Священного Писания и моей совести.

– Не руководят ли вас к сему иные источники нового времени?

– Все другие источники не чисты и полны суемудрия.

– Теперь скажите в последнее: как вы не боитесь ни того, что пишете, ни того, что со мною в церкви сделали?

– Что пишу, то про себя пишу, а что в храме сделал, то должен был учинить, цареву власть оберегаючи.

– Почему цареву?

– Дабы видели все его слуг к вере народной почтительными.

– Но ведь я мог с вами обойтись совсем не так, как обхожусь.

Рыжов посмотрел на него «с сожалением» и отвечал:

– А какое же зло можно сделать тому, кто на десять рублей в месяц умеет с семьей жить?

– Я мог велеть вас арестовать.

– В остроге сытей едят.

– Вас сослали бы за эту дерзость.

– Куда меня можно сослать, где бы мне было хуже и где бы бог мой оставил меня? Он везде со мною, а кроме его никого не страшно.

Надменная шея склонилась, и левая рука Ланского простерлась к Рыжову.

– Характер ваш почтенен, – сказал он и велел ему выйти.

Но, по-видимому, он еще не совсем доверял этому библейскому социалисту и спросил о нем лично сам несколько простолудинов.

Те, покрутя рукой в воздухе, в одно слово отвечали:

– Он у нас такой-некий-этакой.

Более положительного из них о нем никто не знал.

Прощаясь, Ланской сказал Рыжову:

– Я о вас не забуду и совет ваш исполню – прочту Библию.

– Да только этого мало, а вы и на десять рублей в месяц жить поучитесь, – добавил Рыжов. Но этого совета Ланской уже не обещал исполнить, а только засмеялся, опять подал ему руку и сказал:

– Чудак, чудак!

Сергей Степанович уехал, а Рыжов унес к себе домой своего «Однодума» и продолжал писать в нем, что изливали его наблюдательность и пророческое вдохновение.

Глава тринадцатая

Со времени проезда Ланского прошло довольно времени, и события, сопровождавшие этот проезд через Солигалич, уже значительно позабылись и затерлись ежедневной сутолокою, как вдруг нежданно-негаданно, на дивное диво не только Солигаличу, а всей просвещенной России, в обревизованный город пришло известие совершенно невероятное и даже в стройном порядке правления невозможное: квартальному Рыжову был прислан дарующий дворянство владимирский крест – первый владимирский крест, пожалованный квартальному.

Самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по установлению. И крест и грамота были вручены Александру Афанасьевичу с объявлением, что удостоен он сея чести и сего пожалования по представлению Сергея Степановича Ланского.

Рыжов принял орден, посмотрел на него и проговорил вслух:

– Чудак, чудак! – А в «Однодуме» против имени Ланского отметил: «Быть ему графом», – что, как известно, и исполнилось. Носить же ордена Рыжову было *не на чем*.

Кавалер Рыжов жил почти девяносто лет, аккуратно и своеобразно отмечая все в своем «Однодуме», который, вероятно, издержан при какой-нибудь уездной реставрации на оклейку стен. Умер он, исполнив все христианские требы по установлению православной церкви, хотя православие его, по общим замечаниям, было «сомнительно». Рыжов и в вере был человек такой-некий-этакой, но при всем том, мне кажется, в нем можно видеть кое-что кроме «одной дряни», – чем и да будет он помянут в самом начале розыска о «трех праведниках».

Впервые опубликовано – «Еженедельное новое время», 1879.

Пигмей

Расскажу вам одно истинное событие, о котором недавно вспомнили в одном скромном кружке, по поводу замечаемого нынче чрезмерного усиления в нашем обществе холодного и бесстрастного эгоизма и безучастия. Некоторым из собеседников казалось, что будто прежде так не было, – им сдавалось, будто еще и в недавнее время сердца были немножко потеплее и души поучастливее, и один из собеседников, мой земляк, пожилой и весьма почтенный человек, сказал нам:

– Да вот как, господа: я сейчас еще знаю у нас в губернии одного старичка, самого мелкопоместного дворянина, настоящего пигмея, который никогда в жизни не играл никакой значительной роли, а между тем он, живучи здесь в Петербурге, по одному благородному побуждению, сделал раз такое дело, что этому даже, пожалуй, и поверить трудно. И если я вам это расскажу, так вы увидите, что может сделать для ближнего самый маленький человек, когда он серьезно *захочет* помочь ему; – наше нынешнее горе в том, что никто ничего не хочет сделать для человека, если не чает от этого себе выгоды.

И рассказчик сообщил нам следующее.

Глава первая

Мелкопоместный дворянин, о котором я говорю, назывался С***, он еще здравствует и доживает свой век в своем маленьком хуторочке в К. уезде. Прежде чем состариться, он служил здесь в Петербурге в ведомстве с. – петербургской полиции и на самом ничтожном месте: на обязанности его лежало распоряжаться исполнением публичных телесных наказаний. В то сравнительно весьма недавнее время у нас на святой Руси людей непривилегированного класса секли плетями и клеймили. За свою долговременную службу нынешний старичок С., разумеется, «привел в исполнение» этих наказаний такое бесчисленное множество, что совершенно привык к такому неприятному занятию и распоряжался этим холодно и бестрепетно, как самым обыкновенным служебным делом. Но вот раз с ним случилось такое событие, что он сам себе изменил и, по собственным его словам, «вместо того, чтобы благоразумно долг свой исполнить – наделал глупостей».

Событие это произошло в 1853 г., когда русские отношения к Франции были очень натянуты и в столице сильно уже поговаривали о возможности решительного разрыва. В это время раз чиновнику С. передают «для исполнения» бумагу о наказании плетью, через палача, молодого француза N, осужденного к этому за самый гадкий поступок над малолетней девочкой. Я не назову вам этого француза, потому что он жив и довольно известен; а как его имя берегла от оглашения скромность «пигмея», то и я не великан, чтобы его выдать.

– Прочел, – говорит С., – я эту бумагу, пометил, и что же еще тут долго думать: отшлепаем молодца яко старца, да и дело с концом; и я дал в порядке приказ подрядчику, чтобы завтра эшафот на площади сладить, а сам велел привести арестанта, чтобы посмотреть на него: здоров ли он и можно ли его безопасно подвергнуть этой процедуре.

Приводят человека такого тщедушного, дохлого; бледный, плачет, дрожит и руки ломает, а сам все жалостно лепечет.

– Ах ты, думаю, господи боже мой: надо же было ему, этакому французскому поганцу, сюда заехать и этакое пакостное дело здесь учинить, чтобы мы его тут на свой фасон как сидорову козу лупили.

И вдруг жаль мне его стало.

– Что, говорю, ты это себе наделал! Как ты дерзнул на бедное дитя покуситься...

А он падает в ноги, ручонки в кандалах к небу поднимает, гремит цепями и плачет.

– Мусье, мусье! Небо видит...

– Что, говорю: «Небо»! нечего теперь, братец, землю обесчестивши, на небо топыриться, – готовься: завтра экзекуция, – что заслужил, то и примешь.

– Я, говорит, занапрасно (он, три года в остроге сидя, таки подучился немножко по-русски).

– Ну, уже это, говорю, мон ами, врешь, – занапрасно бы у нас тебя не присудили: суд знает, за что карает.

– Ей-богу, говорит, занапрасно... вот бог, дье, дье меня убей... и тому подобное, и так горько, так горько бедный плачет, что всего меня встревожил. Много я в своей жизни всяких слез перед казнью видел, но а этаких жарких, горячих да дробных слез, право, не видал. Так вот и видно, что их напраслина жмет...

– Ну, а мне-то, скажите, – что же я, пигмей, могу ему сделать? – мое дело одно, что надо его отпороть, заклеить, да сослать «во исполнение решения», вот и все, и толковать тут не о чем. И я кивнул часовым, чтобы взяли его, потому что для чего же мне его держать, – и самому тревожиться, и его напрасно волновать раньше времени.

– Ведите, говорю, его назад в тюрьму.

Но он, как услышал это, так обхватил мою ногу руками и замер: а слезы или лицо это у него такое горячее, что даже сквозь сапог мою ногу жжет.

– Тьфу, провались ты совсем, думаю, вот на горе свое я с ним разговорился: и никак его с ноги стряхнуть не могу; а самому мне в ухо вдруг что-то шептать начало: «расспроси его, расспроси, послушай, да заступись».

– Ну, чего тут, помилуйте, заступаться мне, ничтожному исполнительному чиновнику, когда дело уголовным судом решено и уже и подрядчику, и смотрителю насчет палача приказ дан. Какие тут заступничества? А оно, это что-то незримое, знай все свое в ухо шепчет: «расспроси, заступись».

Я и соблазнился: заступаться, думаю, я хоть и не буду, а расспросить, пожалуй, расспрошу.

– Валяй, говорю, рассказывай по всей истине, как дело было! Да только смотри – не ври.

Глава вторая

Он мне, сколько ему позволяли слезы и рыдания, рассказал, что жил он на Морской у парикмахера; туда ходила к ним, к стригачам, от прачки девочка, двенадцати – не то тринадцати лет, – очень хорошенькая. И говорит, что она не то на его сестренку или, как там поихнему, на кузинку его какую, что ли, очень похожа была. Ну, а он, это, знаете, как француз... ну, разумеется, со вкусом тоже и фантазией: нравится ему дитя, – он ей нынче бантик, завтра апельсинчик, после рубль, или полтинничек, бомбошки – все баловал ее. Говорит, без всякой будто цели; а мать-то ее пройдоха была: зазвала его к себе да с девчонкою их и заперла, а девчонку научила ему рожу расцарапать, да кричать, будто ее страшно обидеть хотел. Сбежался народ, акт составили, в тюрьму, – в тюрьме три года продержали и к плетям, да к ссылке при- судили.

Выслушал я все это, и все мне показалось это так, как он рассказал, и обратил я внимание на его рубец, что эта девочка ему на носу сделала: глубокий рубец, – зажил, но побелелый шрам так и остался. Престранный шрам: точно нарочно рассчитано, на каком месте его отметить. По большей части это никогда так не бывает: по большей части женщина в таких случаях прямо в глаза, а еще больше в щеки цапает, – потому она, когда ее одолевают, руками со сторон к лицу взмахивает; а это как-то по-кошачьи, прямо в середину, как раз по носу и к губе пущено...

Думаю, чего доброго, бог знает, ведь есть такие проходимки; в полиции как послужишь, так ведь на каких негодяев не насмотришься, и говорю ему, – это вам даже смешно должно показаться, – говорю:

– Ну, хорошо, мусье: если все это так, как ты мне сказал, – то, может быть, бог напраслины не допустит: – молись и надейся.

Он руки у меня расцеловал и забрякал цепями, пошел, а я остался на своем месте и думаю себе: вот и два дурака вместе собрались. Первый он, что меня за пророка почел, а другой я, что ему напрасную надежду подал.

А во лбу так-таки вот и стоит, что это напраслина и ужасная напраслина, и между тем вот мы завтра его бить будем и это его щуплое французское тельце будет на деревянной кобыле ежиться, кровью обливаться и будет он визжать, как живой поросенок на вертеле... Ах, ты, лихо бы тебя било, да не я бы на это смотрел! Не могу; просто так за него растревожился, что не могу самой пустой бумажонки на столе распределить.

Подозвал младшего чиновника и говорю:

– Сделайте тут, что нужно, а у меня очень голова разболелась, – я домой пойду.

Пришел домой, ходил-ходил, ругался-ругался со всеми, и с женою, и с прислугою – не могу успокоиться да и баста! Стоит у меня француз перед глазами и никак его не выпихнешь.

Жена уговаривает, «что ты, да что с тобою»? – потому что я никогда такой не был, а я еще хуже томлюсь.

Подали обедать; я сел, но сейчас же опять вскочил, не могу да и только. Жаль француза, да и конец.

Не выдержал и, чтобы не видали домашние, как я мучусь, схватил шляпу и побежал из дома, и вот с этих-то пор я уже словно не сам собою управлял, а начало мною орудовать какое-то вдохновение: *я задумал измену.*

Глава третья

Вышел я и прямо к приставу, у которого это происшествие было; спрашиваю: как это все тогда, три года назад, происходило и что за баба мать этой девочки.

Пристав говорит:

– Черт их знает, – это дело еще не при мне было, а баба, мать этой девочки, – большая негодяйка, и она, говорит, с своею дочкою еще после того не раз этакую же историю подводила. А впрочем, говорит, кто их разберет: кто прав, кто виноват.

Ну, довольно, думаю, с меня: мы с тобою, брат, этого не разберем, а бог разберет, да с этим прямо в Конюшенную, на каретную биржу: договорил себе карету глубокую, четверо-местную, в каких больных возят, и велел как можно скорее гнать в Измайловский полк, к одному приятелю, который был семейный и при детях держал гувернера француза. Этот француз давно в России жил и по-русски понимал все, как надо.

Прикатил я к приятелю и говорю:

– Дай, говорю, голубчик, мне на подержание своего французишку, что у тебя служит: он мне нужен.

– Зачем тебе? – спрашивает.

– Так, говорю, нужен он мне, – на самое короткое время, – всего часа на два.

И говорю это, знаете, так, что приятель мой легко мог заметить, что я не спокоен, потому что задыхаюсь, тороплюсь и волнуюсь, и чем это больше скрыть хочу, тем больше себя, к досаде своей, высказываю и ввожу его насчет себя в сомнение, а тем у него, разумеется, еще больше вопросы вызываю: «что ты, да на что тебе?»

Насилу нашелся увернуться от его долгих расспросов, сказавши, что будто бы встревожен оттого, что получил известие о болезни брата, и не могу удержаться, хочу съездить к французенке гадалке на ленорманских картах погадать: выздоровеет ли мой брат или умрет? ну, а как сам я по-французски не маракую, то... и прочее, и прочее, и прочее.

Не знаю: поверил ли мне приятель или не поверил, но только расспрашивать больше не стал и француза мне отпустил; а я, взявши того, сейчас же опять с ним в карету и говорю:

– Ну, слушай, мусье: знаешь ли ты, по какому делу я тебя взял?

А тот, смотрю, глядит на меня и бледнеет, потому, знаете: наша полицейская служба к нам вольнолюбивых людей не располагает. Особенно в тогдашнее время, для француза я мог быть очень неприятен, так как, напоминая вам, тогда наши русские отношения с Францией сильно уже портились и у, нас по полиции часто секретные распоряжения были за разными людьми их нации построже присматривать.

– Что ты это, кажется, – говорю: – сробел? А уже его и лихорадка колотит.

– Помилуйте, – отвечает: – я ни в чем не виноват!

– Да, дуй тебя горою: кто тебе говорит, что ты в чем-нибудь виноват! Тут я, братец, во всем виноват, потому что я *изменник*: я в такое время вмешиваюсь в дело, куда мне совсем и носа совать не следует; ну, да некуда податься, видно богу так угодно, чтобы я сюда сунулся. И, вообразите себе, я, действительно, в то время так чувствовал, что *это богу угодно* совершить то, что я делаю. Разумеется, самомнение.

– Слушай же, – говорю: – так и так, вот в чем дело: вот что с одним твоим компатриотом случилось и что ему завтра неотразимо угрожает – плети, а я его от этого намерен избавить.

Спутник мой и рот разинул: он хоть и иностранец был, но давно, как я вам сказал, у нас в России живши, имел о наших порядках понятие и потому, конечно, мог разве за сумасшествие принять, что маленький полицейский исполнительный чиновник вызывается отменить судебное уголовное решение, утвержденное высшею властью. Но я ему говорю:

– Я тебя прошу, любезный друг, на меня открытым ртом не зевать и не ахать, а послужить богу в этом деле, для чего я тебя и взял: знаешь ли ты, куда я тебя теперь везу?

– Не знаю, – говорит.

– Ну, так вот знай, вот сейчас мы остановимся у вашего посольства; мне туда заходить никак нельзя, потому что я полицейский чиновник и нам законом запрещено в посольские дома вступать, а ты войди, и как ваши послы столь просты, что своих соотечественников во всякое время принимают, то добейся, чтобы тебя герцог сейчас принял ¹, и все ему расскажи. А я, тем временем, здесь в карете сидеть буду – тебя дожидаться, и если посол скажет, чтобы меня позвать, ну, ты тогда пришли за мной, и я явлюсь и все подтверждаю; но, может быть, он и так поверит и сам узнает, что ему надо сделать.

Подъехали мы к посольскому дому, остановились; француз мой вылез и за зеркальные двери в подъезд ушел, а я велел извозчику подальше немножко отъехать и забился в уголок кареты – и жду. И тут вдруг я сообразил всю свою измену и меня начала лихорадка бить...

¹ В Петербурге в это время французским послом и полномочным министром находился, кажется, *герцог де-Гиш*, который заступил с 10-го (22-го) августа 1853 г. барона Бюриньо де-Варень, бывшего поверенного по делам.

Глава четвертая

Вдруг, знаете, сразу мне все ясно представилось: за какое я непосильное дело взялся, и это... полицейский-то я чиновник, и как будто на свое правительство... жалуюсь... да еще иностранному послу, да еще французскому, и в такое политическое время... Эх, скверно! изменник я, чистый изменник! И что больше думаю, то все хуже выходит... Эх, как скверно! А французика моего все нет как нет, из-за этих зеркальных дверей, а мне видно, как по той стороне улицы, по противоположному тротуару, все квартальный ходит... Думаю себе: недаром же он тут прогуливается... И, ведь поди, на мой грех, может быть, еще этакий... из внимательных, орденок, гляди, хочет выслужить и стоит, теперь, пожалуй, да соображает, что, мол, это за карета к посольскому дому подъехала? нет ли тут чего? да возьмет, вор, и заглянет в окно; а я вот тут и есть! Узнает, бездельник, потому что меня по полиции все знали, и скажет: «Аа, милостивый государь, так вы изменять!» да сейчас донесет по начальству; и поминай как звали... И дома не побываешь, а прямо через Троицкий мост, да в Петропавловскую крепость, а там для нас, изменников, обители многи суть... Страх такой обнял, что лежу в углу кареты, как мокрый пес колечком свернувшись, а сам так же, как пес на холоду, и дрожу, и уже ругательски себя ругаю, что заварил этакую крутую кашу... И все, знаете, одним глазком поглядываю из окошечка на квартального, который насупротив гуляет, а сам все книзу, да книзу с сиденья на пол кареты спускаюсь, и норовлю, чтобы пятками дверцу оттолкнуть, да по низку стрекача дать, благо – я тут вблизи пролетный двор знал – и искать бы меня негде было.

Так я и устроил: в карете на сиденье положил два целковых, что за экипаж следовало, а сам открыл дверцу – и только задом-то выполз и ступил на мостовую, как вдруг слышу: «б-гись!», и мимо самой моей спины пролетела пара вороных лошадей в коляске и прямо к подъезду, и я вижу – французский посол в мундире и во всех орденах скоро сел и поскакал, а возле меня как из земли вырос этот мой посол-француз, тоже очень взволнован, и говорит:

– Зачем, – говорит, – вы вылезли?

А я от нечистой совести так перепугался, что одурел, и давай врать:

– Что такое, – говорю, – вам нужно? Я вас вовсе не знаю и ниоткуда я не вылезал.

– А видели вы?

– Да что такое, – говорю, – видеть? – отстаньте вы от меня: ничего я не видал.

– Герцог-то наш, – говорит, – уже поехал.

– Да какое мне дело до вашего герцога... что вы ко мне приклеились?

– Как, – говорит, – какое дело: да вы знаете ли, куда он отправился?

– Ничего, ровно ничего я не знаю, и знать мне незачем, а вы если от меня не уйдете, так я сейчас полицейского кликну.

Он смотрит на меня, что я так странен, должно быть, ему в своих речах показался, и шепчет:

– Герцог в Зимний дворец поехал.

– Да отойдите же, – говорю: – вы от меня: – я вам сказал, что я ничего не знаю; и с этим отпихнул его, да скорее через знакомый пролетный двор, да домой к птенцам, чтобы, пока еще время есть, хоть раз их к своему сердцу прижать. И не успел этим распорядиться, как вдруг нарочный, с запиской от генерала, чтобы завтра наказание такого-то француза отменить.

Батюшки мои, думаю, как заиграло.

Глава пятая

Я только язык прикусил, да поскорее написал всем кому надо отмену церемонии и всю ночь потом не ложился, а все ходил в этакое в самом странном каком-то состоянии. Еще сам себе не отдавал отчета: как это я сделал и что из этого дальше выйдет? А и страшно, и словно благодать какая в душе. Думаю, конечно, и о том: не попадусь ли я тут сам каким-нибудь манером и чего буду за мою измену удостоен, но и за беднягу французишку нарадоваться не могу. И только насилу перед самым утром, с этими нелегкими мыслями, у себя в кабинете в кресле задремал, как вдруг слышу в передней возле двери шум и пререкание, жена кого-то упрашивает повременить, говорит, что я только сейчас заснул; а тот, чужой голос, настаивает, чтобы тотчас разбудить и точно как будто имя государя мне послышалось. Сейчас мне припомнилась моя измена, и сразу вся моя дрема прошла.

Бросился я, как был, в халате к двери, смотрю – курьер стоит с этакую солидную рожею, каких нарочно по осторожным делам посылают, и подает мне молча пакет.

Я, знаете, и пакет беру, и руки-то ходенем ходят, насилу разломил печать и вижу белый лист, а на нем посредине всего одно слово выведено «*благодарю*», а в середине деньги... Сосчитал – как раз полторы тысячи рублей денег.

Ведь не поймешь этого ничего как-то в первую минуту: что это и от кого, и потому не знаешь, к кому в таком затруднении готов за объяснениями обратиться. Так и я курьера-то этого хочу спросить, а его уже след простыл... Ну, тут я на пакет то этот глянул, чьей рукою имя-то мое написано и «благодарю-то» это священное для меня выведено, и вспомилил, чей это почерк... да уж зато тут-то уже я себе и дал волю: то есть, этак, я вам говорю, я дурачки ревел, этак я сладко вырыдался, что мое вам почтение... Два раза во всю мою жизнь потом только этак и плакал: во второй это было, как император Николай Павлович умер, и я ему к его гробу ночью свое «благодарю» ходил сказывать за то, про что мы *с ним двое* только из всех русских знали: он, мой царь, да я, – его изменник. И еще после я в третий раз так же плакал, по иному случаю, из этой же, впрочем, истории вытекшему.

Глава шестая

Этого французика мы так совсем плетями и не секли, а велено было его просто выслать вон из России с подпискою, чтобы никогда в пределы оной возвращаться не смел. Ну, да где уж ему, дураку, было желать сюда возвращаться, да и незачем – он дивным образом очень богат сделался в Париже. А я эти полторы тысячи-то, которые мне как с неба упали, припрятал себе на лечение и из них в несколько лет к отставке моей из полуторы две или даже немножко более стало, я и поехал в Виши водами от своего сиденья полечиться... Наполеон там еще императорствовал, ну, и все это еще у них тогда по-старому было; а на обратном пути, облегчаясь, я в Париж завернул: посмотреть там, что поинтереснее, да домой своим дамкам, знаете, какой-нибудь галантерейщины и парфюмерии прихватить. У нас, я слыхал, в Петербурге все Пино, парижского парфюмера, предпочитают, и говорю своему проводнику:

– Сведите-ка меня, батюшка, к Пино, душков да помадки у него какие получше набрать. А проводник мне возражает:

– Зачем же, – говорит: – вам к Пино ехать?

– Да ведь он, – говорю: – самый лучший.

– Помилуйте, – отвечает: – это бог знает, как давно было, что он лучшим считался, а теперь не Пино, а другой парфюмер здесь всех лучше, и назвал мне, знаете, фамилию, которая так меня сразу чем-то знакомим по уху и щелкнула.

– Как, – говорю: – вы его называете?

Тот повторил.

– Ах, батюшки мои, – вспомнил я себе: – да ведь это чуть ли и мой давнишний крестник тоже так назывался! и спрашиваю:

– Не был ли этот ваш знаменитый парфюмер когда-нибудь в России?

– Как же, – говорит: – был, только он в 1853 г. – перед крымскою кампаниею, за политические вмешательства оттуда выслан из Петербурга.

– Гм, знаю, мол, я эту политику.

– Ну, а все-таки, – говорю, – мы уже, батюшка, лучше к Пино покупать-то поедем, а к этому не поедем.

Проводник мой меня отговаривать, но я, однако, на своем уперся.

– Нет, нет, нет, – говорю, – мне это не идет... Бог его еще знает там, как он, хорошо ли делает; мало ли кто у вас тут на короткое время в моду входит, а Пино, говорю, – это фирма старая, и он у нас славится: так уж вы меня, пожалуйста, к Пино свезите.

Избегал, разумеется, чтобы не встретиться, знаете... Ну, что хорошего этакое скверное, что уже прошло, опять человеку напоминать?

Но тут, должен вам сознаться в своей маленькой слабости: проводник мне начал рассказывать, как этот господин очень богат; какая у него богатая фабрика и какой щегольский магазин и живет в собственном доме, – не знаю уже, как эта улица у них называется, а только, близ самой Вандомской колонны... Я дом-то и захотел посмотреть.

– Что же, думаю: хоть не на него, так, по крайней мере, на его имущество взгляну: отчего же не взглянуть? ведь это ему ничего, – он и знать не будет. Разумеется, не хорошо, и этого не следовало, потому что суетно. Но, как хотите, ведь интересно, потому что хоть небольшое дело я ему сделал, а все же он с моих рук жить пошел.

Вот мы и поехали: проезжаем мимо, нарочно тихо – в колясочке, и вижу: дом как дворец; вывеска фабрики на три улицы; окна в магазине – хоть шестериком в них поворачивай.

– Быть, – говорю, не может, чтобы это тот самый человек!

– Нет, тот самый, что у вас из России за политику выслан.

– Да что ты, думаю, дурачок, толкуешь, много ты понимаешь меня, о чем я думаю? По-твоему это тот, а по-моему это не тот политик, про которого я разумею.

Ну, а впрочем, что я ему стану рассказывать, какие там у моего крестника кондуиты: я только не верю, чтобы могла судьба этак играть человеком и дать вдруг, после такого унижения, такое большое богатство.

– Когда бы мне можно было на него как-нибудь взглянуть, – говорю: – вот бы это мне было очень интересно!

– Отчего же, – говорит: – это очень можно.

– Только я к нему в магазин не пойду, а нельзя ли так... где-нибудь в щелочку, чтобы он меня не видал, а я бы его видел?

– Очень можно, – говорит: – да он сам в магазин и редко приходит, и в доме-то этом теперь летом не живет.

– А где же он живет?

– У себя на даче, в Пасси.

– У него и дача, – говорю, – есть?

– Не одна, – говорит, – а две: одна этакая полувлетняя, по-ихнему «демисезон», тут недалеко над Трокадеро, а другая, настоящая, в Пасси, – такой, говорит, загородный дом, что редко можно другой встретить, и он, говорит, всегда в семь часов у себя над открытым цветником, на веранде, кофе с гостями пьет, а иногда с женою и детьми в серсо играет: вот мы можем потихоньку раз или два мимо пройти, вы его и увидите.

– Что же, и отлично!

На дворе было как раз часов шесть, и я уже по-своему, по-русски, был пообедавши и проводник мой тоже накормлен, я и говорю ему:

– Да что, батюшка, далеко-то откладывать: велите-ка извозчику сейчас прямо туда ехать. Эй, ты, братец, говорю: – коше, пошел-ка, брат, в Пасси, да порезвее, на водку хорошо получишь.

Проводник перевел, – мы и поехали.

Глава седьмая

Поехали, и как путь лежал чрез Трокадеро, то мой проводник и домик мне этого моего старого знакомого показал, – важный домик, хоть бы принцу жить не стыдно; ну, а в Пасси так просто замок этакий маленький, стены каменные, высокие, все плющом заросли, и подъезд из узенького переулочка, а за решеткою виден цветник, а за цветником дом и веранда... И что же вы изволите думать: застали мы здесь все, будто по писаному, как мой проводник мне предсказал: в цветнике детки резвятся, на веранде гости сидят и хозяин... Я спрятался за угол стенки, вынул из кармана бинокль, навел на него и вижу, нет сомнения, – это он, мой крестник! Возмужал и постарел, да и отъелся, разумеется, хорошо в благополучной жизни; а у носика-то белый рубчик все-таки остался.

– Не знаете ли, батюшка, – говорю я своему проводнику: – хороший ли он муж?

– Превосходный, – говорит, человек; отлично они живут, – и жена у него чудесная, и дети добрые, и сам он добрый, и бедных людей очень помнит.

– Вот за это, – говорю, – молодец, что бедных помнит.

А в это самое время, как мы, таким образом, за углом перешептываемся, он нас, должно быть, заметил – и кричит дочке:

– Алина!

И вдруг решетчатая калиточка хлопнула и ко мне подпорхнула милая, как ангелок, девочка, в розовом платьице, и не успел опомниться, как она мне сунула в руку, франк, проговорила: «о ном де Жезю», или как там по-ихнему вроде нашего: «прими, Христа ради» и скрылась.

Я это, знаете, в пальто в своем, в русском, был и шляпа на мне мягкая пуховая и, действительно, я на бульварного воюка был похож, ну, она мне и подала за отца «Христа ради». Что же такое: я этот франк ее принял и о сю пору берегу: говорят, будто нишенское хорошо для счастья, но я не для суеверия, а так... для памяти дорожу. Ну-с, вот тут-то вот, я, как назад в свой номеришка ехал, уже сам себе изменил: опять в третий раз всю дорогу сладко-пресладко плакал. Проводник-то, я думаю, каким дураком меня считал, да и стоило. Только ведь, знаете, не удержишься, потому что, как в старинных стихах говорится:

Почувствовать добра приятство
Такое есть души богатство,
Какого Крез не собирал.

Как же за эти незаслуженные ощущения бога хоть слезою не поблагодарить!

Впервые опубликовано – «Гражданин», 1876.

Кадетский монастырь

Глава первая

У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают, а если стать присматриваться – они есть. Я сейчас вспоминаю целую обитель праведных, да еще из таких времен, в которые святое и доброе больше чем когда-нибудь пряталось от света. И, заметьте, все не из чернородья и не из знати, а из людей служилых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее; но тогда были... Верно и теперь есть, только, разумеется, искать надо.

Я хочу вам рассказать нечто весьма простое, но не лишенное занимательности, – сразу о четырех праведных людях так называемой «глухой поры», хотя я уверен, что тогда подобных было очень много.

Глава вторая

Воспоминания мои касаются Первого петербургского кадетского корпуса, и именно одной его поры, когда я там жил, учился и сразу въявь видел всех четырех праведников, о которых буду рассказывать. Но прежде позвольте мне сказать о самом корпусе, как мне представляется его заключительная история.

До воцарения императора Павла корпус был разделен на возрасты, а каждый возраст – на камеры. В каждой камере было по двадцати человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые «аббаты», – французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Каждому аббату давали по пяти тысяч рублей в год жалованья, и они жили вместе с кадетами и даже вместе и спали, дежуря по две недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. От этого знание иностранных языков между кадетами было очень значительно, и этим, конечно, объясняется, почему Первый кадетский корпус дал так много послов и высших офицеров, употреблявшихся для дипломатических посылок и сношений.

Император Павел Петрович как приехал в корпус в первый раз по своем воцарении, сейчас же приказал: «Аббатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно в ротах полковых»².

С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось. Об этом в корпусе жили предания, не позабытые до той сравнительно поздней поры, с которой начинаются мои личные воспоминания о здешних людях и порядках.

Я прошу верить, а лично слышащих меня – засвидетельствовать, что моя память совершенно свежа и ум мой не находится в расстройстве, а также я понимаю слегка и нынешнее время. Я не чужд направлений нашей литературы: я читал и до сих пор читаю не только, что мне нравится, но часто и то, что не нравится, и знаю, что люди, о которых буду говорить, не в фаворе обретаются. Время то обыкновенно называют «глухое», что и справедливо, а людей, особенно военных, любят представлять сплошь «скалозубами», что, может быть, нельзя признать вполне верным. Были люди высокие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем.

Всем теперешним взрослым людям известно, как воспитывали у нас юношество в последующее, менее глухое время; видим теперь на глазах у себя, как сейчас воспитывают. Всякой вещи свое время под солнцем. Кому что нравится. Может быть, хорошо и то и другое, а я коротенько расскажу, кто нас воспитывал и *как* воспитывал, то есть какими чертами своего примера эти люди отразились в наших душах и отпечатались на сердце, потому что – грешный человек – вне этого, то есть без живого возвышающего чувства примера, никакого воспитания не понимаю. Да, впрочем, теперь и большие ученые с этим согласны.

Итак, вот мои воспитатели, которыми я на старости лет задумал хвалиться. Иду по номерам.

² Из «Краткой истории Первого кадетского корпуса», составленной Висковатовым, видно, что это произошло 16 января 1797 года. (Прим. Лескова.).

Глава третья

№ 1. *Директор, генерал-майор Перский* (из воспитанников лучшего времени Первого же корпуса). Я определился в корпус в 1822 году вместе с моим старшим братом. Оба мы были еще маленькие. Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное «матушкой Екатериною». Аракчеев хотел отобрать у него это имение под военное поселение, но наш старик поднял такой шум и упорность, что на него махнули рукою и подаренное ему «матушкой» имение оставили в его владении.

Представляя нас с братом генералу Перскому, который в одном своем лице сосредоточивал должности директора и инспектора корпуса, отец был растроган, так как он оставлял нас в столице, где у нас не было ни одной души ни родных, ни знакомых. Он сказал об этом Перскому и просил у него «внимания и покровительства».

Перский выслушал отца терпеливо и спокойно, но не отвечал ему ничего, вероятно потому, что разговор шел при нас, а прямо обратился к нам и сказал:

– Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказывает вам начальство. Главное – вы знайте только самих себя и никогда не пересказывайте начальству о каких-либо шалостях своих товарищей. В этом случае вас никто уже не спасет от беды.

На кадетском языке того времени для занимавшихся таким недостойным делом, как пересказ чего-нибудь и вообще искательство перед начальством, было особенное выражение «подъезозчик», и этого преступления кадеты *никогда не прощали*. С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко, и начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хорош и худ, но он несомненно воспитывал в детях понятия чести, которыми кадеты бывших времен недаром славились и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба.

Михаил Степанович Перский был замечательная личность: он имел в высшей степени представительную наружность и одевался щеголем. Не знаю, было ли это щегольство у него в натуре или он считал обязанностью служить им для нас примером опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами и все, что ни делал, то делал для нас, что мы были в этом уверены и тщательно старались подражать ему. Он всегда был одет самым форменным, но самым изящным образом: всегда носил тогдашнюю треугольную шляпу «по форме», держался прямо и молодцевато и имел важную, величавую походку, в которой как бы выражалось настроение его души, проникнутой служебным долгом, но не знавшей служебного страха.

Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание, и один раз, когда его увидели с сопровождавшим его вестовым на тротуаре, – весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие: «Михаил Степанович прошел по улице!»

Ему, впрочем, и некогда было разгуливать: будучи в одно и то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности четыре раза в день *непрерывно* обходил все классы. У нас было четыре перемены уроков, и Перский *непрерывно* побывал на *каждом* уроке. Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтер-офицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери.

Перский *исключительно* занимался по научной части и отстранил от себя фронтную часть и наказания за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание: кадета ленивого или нерадивого он, бывало, слегка коснется в лоб кон-

чиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя, и скажет своим чистым, отчетливым голосом:

– Ду-ур-рной кадет!..

И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел и всячески старался исправиться и тем «утешить Михаила Степановича».

Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже *для нас*. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же у места будет сказать, что это, кажется, совершенно справедливо. По крайней мере знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал:

– Мне провидение вверило так много чужих детей, что некогда думать о собственных, – и это в его правдивых устах, конечно, была не фраза.

Глава четвертая

Жил он совершенно монахом. Более строгой аскетической жизни в миру нельзя себе и представить. Не говоря о том, что сам Перский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрания, – он и у себя на дому никогда никого не принимал. Объясняться с ним по делу всякому было очень легко и свободно, но только в приемной комнате, а не в его квартире. Там никто посторонний не бывал, да и по слухам, разошедшимся, вероятно, от Ананьева, квартира его была неудобна для приемов: комнаты Перского представляли вид самой крайней простоты.

Вся *прислуга* директора состояла из одного вышеупомянутого вестового, музыканта Ананьева, который не отлучался от своего генерала. Он, как сказано, сопровождал его при ежедневных обходах классов, дортуаров, столовых и малолетнего отделения, где были дети от четырехлетнего возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленные к тому дамы. Этот Ананьев и служил Перскому, то есть тщательно и превосходно чистил его сапоги и платье, на котором никогда не было пылинки, и ходил для него с судками за обедом, не куда-нибудь в избранный ресторан, а на общую кадетскую кухню. Там кадетскими же стряпунами готовился обед для бессемейных офицеров, которых в нашем монастыре, как бы по примеру начальника, завелось много, и Перский кушал этот самый обед, платя за него эконому такую же точно скромную плату, как и все другие.

Понятно, что, найдя весь день по корпусу, особенно по классам, где он был не для формы, а, имея хорошие сведения во всех науках, внимательно вникал в преподавание, Перский приходил к себе усталый, съедал свой офицерский обед, отличавшийся от общего кадетского обеда одним лишним блюдом, но не отдыхал, а тотчас же садился просматривать все журнальные отметки всех классов за день. Это давало ему средство знать всех учеников вверенного ему обширного заведения и не допускать случайной оплошности перейти в привычную леность. Всякий, получивший сегодня неудовлетворительный балл, мучился ожиданием, что завтра Перский непременно его подзовет, тронет своим античным, белым пальцем в лоб и скажет:

– Дурной кадет.

И это было так страшно, что казалось страшнее сечения, которое у нас практиковалось, но не за науки, а только за фронт и дисциплину, от заведования коими Перский, как сказано, устранился, вероятно потому, что нельзя было, по тогдашнему обычаю, обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны.

Секли ротные командиры, из которых большой охотник до этого дела был командир первой роты Ореус.

Вечер свой Перский проводил за инспекторскими работами, составляя и проверяя расписания и соображая успехи учеников с непройденными частями программы. Потом он много читал, находя в этом большую помощь в знании языков. Он основательно знал языки французский, немецкий, английский и постоянно упражнялся в них чтением. Затем он ложился немного попозже нас, для того чтобы завтра опять встать немного нас пораньше.

Так проводил изо дня в день много лет кряду этот достойный человек, которого я рекомендую не исключать со счета при смете о трех русских праведниках. Он и жил и умер честным человеком, без пятна и упрека; но этого мало: это все еще идет под чертою простой, хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигают немногие, однако все это *только честность*. А у Перского была и доблесть, которую мы, дети, считали своею, то есть нашею, кадетскою, потому что Михайло Степанович Перский был воспитанник нашего кадетского корпуса и в лице своем олицетворял для нас дух и предания кадетства.

Глава пятая

По некоторому стечению обстоятельств мы, ребятишки, сделались причастны к одному событию декабристского бунта. Фас нашего корпуса, как известно, выходил на Неву, прямо против нынешней Исаакиевской площади. Все роты были размещены по линии, а *резервная* рота выходила на фас. Я был тогда именно в этой резервной роте, и нам, из наших окон, было все видно.

Кто знает графически это положение, тот его поймет, а кто не знает, тому нечего рассказывать. Было так, как я говорю.

Тогда с острова прямо к этой площади был мост, который так и назывался Исаакиевским мостом. Из окон фаса нам видно было на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавшихся войск, которые состояли из баталиона Московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после шести часов вечера открыли огонь из шести орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, и в числе бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, а другие ползли по льду, и, перебравшись на наш берег, человек шестнадцать вошли в ворота корпуса, и тут который где привалились, – кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям.

Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшего баталиона Московского полка.

Кадеты, услышав об этом или увидав раненых, без удержу, но и без уговора, никого не слушая, бросились к ним, подняли их на руки и уложили каждого как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на свои койки, но не помню почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто и так было. Однако я об этом не спорю и этого не утверждаю. Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предосудительного и дурного, кадеты не скрывались с своим поступком, которого к тому же и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому, а сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как бунтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить, для чего, построившись к ужину, сделали так называемую «Передачу», то есть по всему фронту передали шепотом слова: «Пирогов не есть, – раненым. Пирогов не есть, – раненым...» Эта «передача»³ была прием обыкновенный, к которому мы всегда обращались, когда в корпусе были кадеты, арестованные в карцере и оставленные «на хлеб и на воду».

Делалось это таким образом: когда мы выстраивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадет-гренадеров, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, «шло приказание», передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой, лаконической форме. Например:

– Есть арестанты – пироги не есть.

Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет, и несмотря на то, что утаить и вынести из-за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко и незаметно. Да впрочем, начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. «Не едят, уносят, – ну и пускай уносят». Худа в этом не полагали, да его, может быть, и не было. Это маленькое правонарушение служило к созиданию великого дела: оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и

³ Воспитанники корпуса позднейших выпусков говорят, что у них не было слова «передача», но я оставляю так, как мне сказано кадетом-старцем. (Прим. Лескова.)

жизненность, с утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, неспособными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести.

Так было и в этот для некоторых из нас очень много-последственный день, когда мы уложили и перевязали своими платками раненых бунтовщиков. Гренадеры дали передачу:

– Пирогов не есть, – раненым.

И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято: пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны.

День кончился по обыкновению, и мы уснули, нимало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело.

Мы могли быть тем спокойнее, что Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова оуждения, а напротив, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать, как будто он одобрил наше ребячье сострадание.

Одним словом, мы считали себя ни в чем не виноватыми и не ждали ни малейшей неприятности, а она была начеку и двигалась на нас как будто нарочно затем, чтобы показать нам Михаила Степановича в такой величии души, ума и характера, о которых мы не могли составить и понятия, но о которых, конечно, ни один из нас не сумел забыть до гроба.

Глава шестая

Пятнадцатого декабря в корпус *неожиданно* приехал государь Николай Павлович. Он был очень гневен.

Перскому дали знать, и он тотчас же явился из своей квартиры и, по обыкновению, отпартовал его величеству о числе кадет и о состоянии корпуса.

Государь выслушал его в суровом молчании и изволил громко сказать:

– Здесь дух нехороший!

– Военный, ваше величество, – отвечал полным и спокойным голосом Перский.

– Отсюда Рылеев и Бестужев! – по-прежнему с неудовольствием сказал император.

– Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев – все главнокомандующие, и отсюда Толь, – с тем же неизменным спокойствием возразил, глядя открыто в лицо государя, Перский.

– Они бунтовщиков кормили! – сказал, показав на нас рукою, государь.

– Они так воспитаны, ваше величество: драться с неприятелем, но после победы призывать раненых, как своих.

Негодование, выразившееся на лице государя, не изменилось, но он ничего более не сказал и уехал.

Перский своими откровенными и благородными верноподданническими ответами отклонил от нас беду, и мы продолжали жить и учиться, как было до сих пор. Обращение с нами все шло мягкое, человеческое, но уже недолго: близился крутой и жесткий перелом, совершенно изменивший весь характер этого прекрасно учрежденного заведения.

Глава седьмая

Ровно через год после декабрьского бунта, именно 14 декабря 1826 года, главным директором всех кадетских корпусов вместо генерал-адъютанта Павла Васильевича Голенищева-Кутузова был назначен генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии Николай Иванович Демидов, человек чрезвычайно набожный и совершенно безжалостный. Его и без того трепетали в войсках, где имя его произносилось с ужасом, а для нас он получил особенное приказание «подтянуть».

Демидов велел собрать совет и приехал в корпус. Совет состоял из директора Перского, баталионного командира полковника Шмидта (человека превосходной честности) и ротных командиров: Ореуса (секуна), Шмидта 2-го, Эллермана и Черкасова, который перед тем долгое время преподавал фортификацию, так что пожалованный в графы Толь в 1822 году был его учеником.

Демидов начал с того, что сказал:

– Я желаю знать имена кадет, которые дурно себя ведут. Прошу сделать им особый список.

– У нас нет худых кадет, – отвечал Перский.

– Однако же, конечно, непременно одни ведут себя лучше, другие хуже.

– Да, это так; но если отобрать тех, которые хуже, то в числе остальных опять будут лучшие и худшие.

– Должны быть внесены в список самые худшие, и они в пример прочим будут посланы в полки унтер-офицерами.

Перский никак этого не ожидал и, выразив непритворное удивление, возразил со всегдашним своим самообладанием и спокойствием:

– Как в унтер-офицеры! За что?

– За дурное поведение.

– Нам вверили их родители с четырехлетнего возраста, как вам известно. Следовательно, если они дурны, то в этом мы виноваты, что они дурно воспитаны. Что же мы скажем родителям? То, что мы довоспитали их детей до того, что их пришлось сдать в полки нижними чинами. Не лучше ли предупредить родителей, чтобы они взяли их, чем ссылать их без вины в унтер-офицеры?

– Нам об этом не следует рассуждать, а должно только исполнить.

– А! в таком случае не для чего было собирать совет, – отвечал Перский. – Вы бы изволили так сказать сначала, и что приказано, то должно быть исполнено. Результат был тот, что на другой день, когда мы сидели за учебными занятиями, классы обходил адъютант: Демидова Багговут и, держа в руках список, вызывал по именам тех кадет, у которых были наихудшие отметки за поведение.

Вызванным Багговут приказал идти в фехтовальную залу, которая была так расположена, что мы из классов могли видеть все там происходившее. И мы видели, что солдаты внесли туда кучу серых шинелей и наших товарищей одели в эти шинели. Затем их вывели на двор, рассадили там с жандармами в заготовленные сани и отправили по полкам.

Само собою разумеется, что паника была ужасная. Нам объявили, что если еще найдутся между нами кадеты, которые будут вести себя неудовлетворительно, то такие высылки станут повторяться. Для оценки поведения была назначена отметка *сто баллов* и сказано, что если кто будет иметь менее семидесяти пяти баллов, то такой будет немедленно отдан в унтер-офицеры.

Само начальство было в немалом затруднении, как располагать оценку поведения по этой новой, столбальной системе, и мы слышали об этом недоумении переговоры, которые окончились тем, что начальство стало нас щадить и оберегать, милостиво относясь к нашим ребячьим

грешкам, за которые над нами была утверждена такая страшная кара. Мы же так скоро с этим освоились, что чувство минутного панического страха вдруг заменилось у нас еще большею отвагою: скорбя за исключенных товарищей, мы иначе не звали между собою Демидова, как «варвар», и вместо того, чтобы робеть и трястись его образцового жестокосердия, решились идти с ним в открытую борьбу, в которой хотя всем пропасть, но показать ему «наше презрение к нему и ко всем опасностям».

Случай представился к этому немедленно же, и очень трудно сказать, до чего бы дошло дело, если бы опять не подспели нам на помощь находчивый ум и большой такт никогда не ходившего за словом в карман Перского.

Глава восьмая

Ровно через неделю после того, как от нас были отлучены и сосланы в унтер-офицеры наши товарищи, нам было приказано идти в ту же фехтовальную залу и построиться там в колонны. Мы исполнили приказание и ждали, что будет, а на душе у всех жутко. Вспомнили, что стоим на тех самых половицах, на которых стояли наши несчастные товарищи перед грудами приготовленных для них солдатских шинелей, и так вот варом и закипит на душе... Как они, сердечные, должно быть, были изумлены и поражены этой неожиданностью, и где-то и как они стали приходить в себя и проч. и проч. Словом сказать: душевная мука, – и стоим мы все, понунив головочки уныло, и вспоминаем Демидова «варвара», но ни капли его не боимся. Пропадать, так всем заодно пропадать, – знаете, ступень такая... освоились. И в это-то время вдруг отворяются двери, и является сам Демидов вместе с Перским и говорит:

– Здравствуйте, деточки!

Все молчали. Ни уговора, ни моментальной «передачи» при его появлении не было, а так просто, от чувства негодования ни у одного уста не раскрылись отвечать. Демидов повторил:

– Здравствуйте, деточки!

Мы опять молчали. Дело переходило в сознательное упорство, и момент принимал самый острый характер. Тогда Перский, видя, что из этого произойдет большая неприятность, сказал Демидову громко, так что все мы слышали:

– Они не отвечают, потому что не привыкли к выражению вашему «деточки». Если вы поздороуетесь с ними и скажете: «здравствуйте, *кадеты*», они непременно вам ответят.

Мы очень уважали Перского и поняли, что, говоря эти слова так громко и так уверенно Демидову, он в то же время главным образом адресует их нам, доверяя себя самого нашей совестливости и нашему рассудку. Опять, без всякого уговора, все сразу поняли его едиными сердцами и поддержали его единими устами. Когда Демидов сказал: «Здравствуйте, кадеты!», мы единогласно ответили известным возгласом: «Здравия желаем!»

Но это не был конец истории.

Глава девятая

После того как мы прокричали свое «здравия желаем», Демидов спустил с себя строгость, которою начал было набираться, когда мы не отвечали на его противную ласку, но сделал нечто, еще более для нас неприятное.

– Вот, – сказал он голосом, который хотел сделать ласковым и делал только приторным, – вот я хочу вам сейчас показать, как мы вас любим.

Он кивнул вестовому Ананьеву, который скорыми шагами вышел за двери и тотчас же возвратился в сопровождении нескольких солдат, несших большие корзины с дорогими кондитерскими конфетами в изукрашенных бумажках.

Демидов остановил корзины и, обратясь к нам, сказал:

– Вот тут целые пять пудов конфет (кажется, пять, а может быть, было и более) – это все для вас, берите и кушайте.

Мы не трогались.

– Берите же, – это для вас.

А мы тоже ни с места; но Перский, видя это, дал знак солдатам, державшим демидовское угощение, и те стали носить корзины по рядам.

Мы опять поняли, чего хочет наш директор, и не позволили себе против него никакой неуместности, но демидовское угощение мы все-таки есть не стали и нашли ему особое определение. В то самое мгновение, как первый фланговый из наших старших гренадеров протянул руку к корзине и взял горсть конфет, он успел шепнуть соседу:

– Конфеты не есть – в яму.

И в одну минуту «передача» эта пробежала по всему фронту с быстротою и с незаметностью электрической искры, и ни одна конфета не была съедена. Как только начальство ушло и нас пустили порезвиться, мы все друг за другом, веревочкою, пришли в известное место, держа в руках конфеты, и все бросили их туда, куда было указано.

Так и кончилось это демидовское угощение. Ни один малыш не слукавил и не соблазнился конфетою: все бросили. Да иначе и нельзя было: дух дружества и товарищества был удивительный, и самый маленький новичок проникался им быстро и подчинялся ему с каким-то священным восторгом. Нас нельзя было подкупить и заласкать никакими лакомствами: мы так были преданы начальству, но не за ласки и подарки, а за его справедливость и честность, которые видели в таких людях, как Михаил Степанович Перский – главный командир, или, лучше сказать, игумен нашего кадетского монастыря, где он под стать себе умел подобрать таких же и старцев.

Впрочем, он ли их умел подбирать или они сами к нему под стать подбирались, дабы жить в отрадном согласии, – этого я не знаю, потому что мы малы были, чтобы вникать в такие вещи; но что знаю о сподвижниках Михаила Степановича, то тоже расскажу.

Глава десятая

Второй номер за игуменом в монастырях принадлежит *эконому*. Так было и у нас, в нашем монастыре. За Михаилом Степановичем Перским по важности значения следовал воспитанный Рылеевым экономом в чине бригадира – Андрей Петрович *Бобров*.

Я ставлю его *вторым* только по подчиненности и потому, что нельзя всех поставить вместе в первых, но по достоинствам души, сердца и характера этот Андрей Петрович был такой же высоко замечательный человек, как сам Перский, и ни в чем не уступал ему, разве только в одной умственной находчивости на ответы. Зато сердцем Бобров был еще теплее.

Он, разумеется, был *холост*, как и надо по монастырскому уставу, и детей любил чрезвычайно. Только не так любил, как иные любят, – теоретически, в рассуждениях, что, мол, «это будущность России», или «наша надежда», или же еще что-нибудь подобное, вымышленное и пустяковое, за чем часто нет ничего, кроме эгоизма и бессердечия. А у нашего бригадира эта любовь была простая и настоящая, которую не нужно было нам изъяснять и растолковывать. Мы все знали, что он нас любит и о нас печется, и никто бы нас в этом не мог разубедить.

Бобров был низенького роста, толстый, ходил с косицею и по опрятности составлял самый резкий контраст с Перским, а был похож в этом отношении на дедушку Крылова. Сколько мы его знали, он всегда носил один и тот же мундир, засаленный-презасаленный, и другого у него не было. Цвет воротника этого мундира определить было невозможно, но Андрей Петрович нимало этим не стеснялся. В этом самом мундире он был при деле и с ним же, когда случалось, предстоял перед старшими военными лицами, великими князьями и самим государем. Говорили, будто бы император Николай Павлович знал, куда Бобров девает свое жалованье, и из уважения к нему не хотел замечать его неряшество.

У Боброва была Анна с бриллиантами на шее, которую он носил постоянно, а уж на какой ленте висела эта Анна, про то не спрашивайте. Лента была так же нераспознаваема, как цвет его воротника на мундире.

Он заведывал всей экономической частью корпуса совершенно самостоятельно. Беспременно занятый научною частью, директор Перский совсем не вмешивался в хозяйство, да это было и не нужно при таком экономе, как бригадир Бобров. К тому же оба они были друзья и верили друг другу безгранично.

В ведении Боброва было как продовольствие, так и одежда всех кадет и всей прислуги без исключения. Сумма расходов простиралась до шестисот тысяч рублей ежегодно, а за сорок лет его экономского служения у него, значит, обратилось до двадцати четырех миллионов, но к рукам ничего не прилипло. Напротив, даже три тысячи рублей положенного ему жалованья он не получал, а только в нем расписывался, и когда этот денежный человек на сороковом году своего экономства умер, то у него не оказалось своих денег ни гроша, и его хоронили на казенный счет.

Я скажу в конце, куда он девал свое жалованье, на какую проматывал его необходимую страстишку, о которой, как выше замечено, будто бы и знал покойный император Николай Павлович.

Глава одиннадцатая

По обычаю своему Бобров был такой же домосед, как и Перский. Сорок кряду лет он буквально не выходил из корпуса, но зато постоянно ходил по корпусу и все учреждал свое дело, все хлопотал, «чтобы мошенники были сыты, теплы и чисты». *Мошенники* это были мы, – так он называл кадет, разумеется употребляя это слово как ласку, как шутку. Мы это знали.

Всякий день он вставал в пять часов утра и являлся к нам в шесть часов, когда мы пили сбитень; после этого мы шли в классы, а он по хозяйству. Затем обед и всякую другую пищу мы получали непременно при нем. Он любил «кормить» и кормил нас прекрасно и очень сытно. Наш нынешний государь в отрочестве своем не раз кушивал с нами за общим кадетским столом и, вероятно, еще изволит помнить нашего «старого Бобра». ⁴ Порций, как это водится во всех заведениях, у нас при Боброве не было – все ели сколько кто хотел. Одевал он нас всегда хорошо; белье заставлял переменять три раза в неделю. Был очень жалостлив и даже баловник, что отчасти было, вероятно, известно Перскому и другим, но не всё: водились и такие вещи, которые Андрей Петрович по добросердечию своему не мог не сделать, но знал, что они незаконны, и он, бригадир, скрывался с ними, как школьник. Это больше всего касалось кадет, подвергнутых наказанию. Тут он весь вне себя был, сдерживался, но внутренне ужасно болел, кипятился, как самоварчик, и, наконец, не выдерживал, чтобы чем-нибудь не «утешить мошенника». Всякого наказанного он как-нибудь подзовет, насупится, будто какой-то выговор хочет сказать, но вместо того погладит, что-нибудь даст и отпихнет:

– Пошел, мошенник, вперед себя не доводи!

Особенная же забота у него шла о кадетках-арестантах, которых сажали на хлеб на воду, в такие устроенные при Демидове особенные карцеры, куда товарищи не могли доставить арестантам подавание. Андрей Петрович всегда знал по счету пустых столовых приборов, сколько арестованных, но кадеты не опускали случая с своей стороны еще ему особенно об этом напомнить. Бывало, проходя мимо его из столовой, под ритмический топот шагов, как бы безотнositельно произносят:

– Пять арестантов, пять арестантов, пять арестантов.

А он или стоит только, выпуча свои глазки, как будто ничего не слышит, или, если нет вблизи офицеров, дразнится, то есть отвечает нам тем же тоном:

– Мне что за дело, мне что за дело, мне что за дело.

Но когда посаженных на хлеб на воду выводили из арестантских на ночлег в роту, Андрей Петрович подстерегал эту процессию, отнимал их у провожатых, забирал к себе в кухню и тут их кормил, а по коридорам во все это время расставлял солдат, чтобы никто не подошел.

Сам им, бывало, кашу маслит и торопится тарелки подставлять, а сам твердит:

– Скорее, мошенник, скорее глотай!

Все при этом часто плакали – и арестанты, и он, их кормилец, и сторожевые солдаты, участвовавшие в проделках своего доброго бригадира.

Кадеты его любили до той надоедливости, что ему буквально нельзя было показаться в такое время, когда мы были свободны. Если, бывало, случится ему по неосторожности попасть в это время на плац, то сейчас же раздавался крик:

– Андрей Петрович на плацу!

Больше ничего не нужно было, и все знали, что делать: все бросались к нему, ловили его, брали на руки и на руках несли, куда ему было нужно.

⁴ В «Краткой» истории Первого кадетского корпуса» (1832 г.) есть упоминание о том, что государь император Александр Николаевич в отрочестве посещал корпус и там кушал с кадетами. (Прим. Лескова.).

Это ему было тяжело, потому что он был толстенький кубик, – ворочается, бывало, у нас на руках, кричит:

– Мошенники! вы меня уроните, убьете... Это мне нездорово, – но это не помогало.

Теперь скажу о страстишке, по милости которой Андрею Петровичу никогда почти не приходилось получать своего жалованья, а только расписываться.

Глава двенадцатая

У нас очень много было людей бедных, и когда нас выпускали, то выпускали на бедное же офицерское жалованье. А мы ведь были младенцы, о доходных местах и должностях, о чем нынче грудные младенцы знают, у нас и мыслей не было. Расставались не с тем, что я так-то устроюсь или разживусь, а говорили:

– Следите за газетами: если только наш полк будет в деле, – на приступе первым я.

Все так собирались, а многие и исполнили. Идеалисты были ужасные. Андрей Петрович сожалел о бедняках и безродных и хотел, чтобы и из них каждый имел что-нибудь приличное, в чем оно ему представлялось. Он давал всем бедным приданое – серебряные ложки и белье. Каждый выпущенный прапорщик получал от него по три перемены белья, две столовые серебряные ложки, по четыре чайных, восемьдесят четвертой пробы. Белье давалось для себя, а серебро – для «общежития».

– Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем дать щей хлебнуть, а к чаю могут зайти двое и трое, – так вот, чтобы было чем...

Так это и соразмерялось – накормить хоть одного, а чайком напоить до четырех собратов. Все до мелочей и вдаль, на всю жизнь, внушалось о товариществе, и диво ли, что оно было?

Ужасно трогательный был человек, и сам растрогивался сильно и глубоко. Поэтически мог вдохновлять, и Рылеев, как я сказал, написал ему оду, которая начиналась словами:

О ты, почтенный эконоом Бобров!

Вообще любили его поистине, можно сказать, до чрезвычайности, и любовь эта в нас не ослабевала ни с годами, ни с переменою положения. Пока он жил, все наши, когда случалось быть в Петербурге, непременно приезжали в корпус «явиться Андрею Петровичу» – «старому Бобру». И тут происходили иногда сцены, которых словами просто даже передать нельзя. Увидит, бывало, человека незнакомого с знаками заслуг, а иногда и в большом чине, и встретит официально вопросом: «Что вам угодно?» А потом, как тот назовет себя, он сейчас сделает шаг назад и одной рукой начнет лоб почесывать, чтобы лучше вспоминать, а другою отстраняет гостя.

– Позвольте, позвольте, – говорит, – позвольте!

И если тот не спешил вполне открыться, то он ворчал:

– У нас был... мошенник... не из наших ли?..

– Ваш, ваш, Андрей Петрович! – отвечал гость или же, порываясь к хозяину, показывал ему его «благословение» – серебряную ложечку.

Но тут вся сцена становилась какою-то дрожащею. Бобров топал ногами, кричал: «Прочь, прочь, мошенник!» и с этим сам быстро прятался в угол дивана за стол, закрывал оба глаза своими пухленькими кулачками или синим бумажным платком и не плакал, а рыдал, рыдал звонко, визгливо и неудержимо, как нервическая женщина, так что вся его внутренность и полная мясистая грудь его дрожала и лицо наливалось кровью.

Удержать его было невозможно, а так как это не раз бывало с ним при таких крайне волновавших его встречах, то денщик его это знал и сейчас ставил перед ним на подносике стакан воды. Более никто ничего не предпринимал. Истерика восторга кончалась, старик сам выпивал воду и, вставая, говорил ослабевшим голосом:

– Ну... теперь поцелуй, мошенник!

И они целовались долго-долго, причем многие, конечно, без всякого унижения или ласкательства целовали у него руки, а он уже только с блаженством повторял:

– Вспомнил, мошенник, старика, вспомнил. – И сейчас же усаживал гостя и сам принимался доставать из шкафа какой-то графинчик, а денщика посылал на кухню за кушаньем.

Отказаться от этого никто не мог. Иной, бывало, отпрашивается:

– Андрей Петрович! я, – говорит, – зван и обещался к такому-то, или к такому-то, какому-нибудь важному лицу.

Ни за что не отпустит.

– Знать ничего не хочу, – говорит, – важные лица тебя не знали, когда я тебя на кухне кормил. Пришел сюда, так ты *мой*, – и должен из старого корыта почавкать. Без того не выпущу.

И не выпустит.

Рацей он никогда не читал, а только *жил* перед нами и остался жить после того, как его в конце сорокового года службы за недостаточностию на казенный счет похоронили.

Глава тринадцатая

Теперь *третий* постоянный инок нашего монастыря – наш корпусный доктор *Зеленский*. Он тоже был холост, тоже был домосед. Этот даже превзошел двух первых тем, что жил в лазарете, в последней комнате. Ни фельдшер, ни прислуга – никто никогда не могли себя предостеречь от внезапного его появления у больных: он был тут как днем, так и ночью. Числа визитаций у него не полагалось, а он всегда был при больных. В день несколько раз обойдет, а кроме того еще навернется иногда невзначай и ночью. Если же случался труднобольной кадет, так Зеленский и вовсе его не оставлял – тут и отдыхал возле больного на соседней койке.

Этот доктор по опрятности был противоположность Перскому и родной брат эконому Боброву. Он ходил в сюртуке, редко вычищенном, часто очень изношенном и всегда расстегнутом, и цвет воротника у него был такой же, как у Андрея Петровича, то есть нераспознаваемый.

Он был телом и душою наш человек, как и два первые. Из корпуса он не выходил. Это, может быть, покажется невероятным, но это так. Никакими деньгами нельзя было его заставить выехать с визитом на сторону. Был один пример, что он изменил своему правилу, когда приехал в Петербург великий князь Константин Павлович из Варшавы. Его высочество посетил одну статс-даму, которую застал в страшном горе: у нее был очень болен маленький сын, которому не могли помочь тогдашние лучшие доктора столицы. Она посылала за Зеленским, который славился отличным знатоком детских болезней, в коих имел, разумеется, огромный навык, но он дал свой обыкновенный ответ:

– У меня на руках тысяча триста детей, за жизнь и здоровье которых я отвечаю и на стороны разбрасываться не могу.

Огорченная его отказом статс-дама сказала об этом великому князю, и Константин Павлович, будучи шефом Первого кадетского корпуса, изволил *приказать* Зеленскому поехать в дом этой дамы и *вылечить* ее ребенка.

Доктор повиновался – поехал и скоро вылечил больное дитя, но платы за свой труд не взял. Одобряет ли кто или не одобряет этот его поступок, но я говорю, как происходило.

Глава четырнадцатая

Зеленский был доктор отличный и, сколько я могу теперь понимать, вероятно, относился к новой медицинской школе: он был гигиенист и к лекарствам прибегал только в самых редких случаях; но тогда насчет медикаментов и других нужных врачебных пособий был требователен и чрезвычайно настойчив. Что он назначил и потребовал, – это уже чтоб было, да, впрочем, и сопротивления-то некому было оказывать. О пище уж и говорить нечего: разумеется, какую порцию ни потребуй, Бобров не откажет. Он и здоровых «мошенников» любил кормить досыта, а про больных уже и говорить нечего. Но я помню раз такой случай, что доктор Зеленский для какого-то больного потребовал вина и назначил его на рецепте словами: «такой-то номер по прејскуранту Английского магазина».

Солдат понес требование эконому, и через несколько минут идет сам Андрей Петрович.

– Батенька, – говорит, – вы знаете ли, сколько этот номер вина за бутылку стоит? Он ведь стоит восемнадцать рублей.

А Зеленский ему отвечал:

– Я и знать, – говорит, – этого не хочу: это вино для ребенка нужно.

– Ну а если нужно, так и толковать не о чем, – отвечал Бобров и сейчас же вынул деньги и послал в Английский магазин за указанным вином.

Привожу это, между прочим, в пример тому, как они все были между собою согласны в том, что нужно для нашей выгоды, и приписываю это именно той их крепкой друг в друге уверенности, что ни у кого из них нет более драгоценной цели, как *наше* благо.

Имея на руках в числе тысячи трехсот человек двести пятьдесят малолетних от четырех до восьми лет, Зеленский тщательнейше наблюдал, чтобы не допускать повальных и заразных болезней, и заболевавших скарлатиною сейчас же отделял и лечил в темных комнатах, куда не допускал капли света. Над этой системой позже смеялись, но он считал ее делом серьезным и всегда ее держался, и оттого ли или не оттого, но результат был чудесный. Не было случая, чтобы у нас не выздоровел мальчик, заболевший скарлатиною. Зеленский на этот счет немножко бравировал. У него была поговорка:

– Если ребенок умрет от горячки, доктора надо повесить за шею, а если от скарлатины – то за ноги.

Мелких чиновных лиц у нас в корпусе было очень мало. Например, вся канцелярия такого громадного учреждения состояла из одного бухгалтера Паутова – человека, имевшего феноменальную память, да трех писарей. Только и всего, и всегда все, что нужно, было сделано, но при больнице Зеленский держал большой комплект фельдшеров, и ему в этом не отказывали. К каждому серьезному больному приставлялся отдельный фельдшер, который так возле него и сидел – поправлял его, одевал, если раскидывается, и подавал лекарство. Отойти он, разумеется, не смел и подумать, потому что Зеленский был тут же, за дверью, и каждую минуту мог выйти; а тогда, по старине, много не говоря, сейчас же короткая расправа: зуботычина – и опять сиди на месте.

Глава пятнадцатая

Верую и постоянно говоря, что «главное дело не в лечении, а в недопущении, в предупреждении болезней». Зеленский был чрезвычайно строг к прислуге, и зуботычины у него летели за малейшее неисполнение его гигиенических приказаний, к которым, как известно, наши русские люди относятся как к какой-то неосновательной прихоти. Зная это, Зеленский держался с ними морали крыловской басни «Кот и повар». Не исполнено или неточно исполнено его приказание – не станет рассуждать, а сейчас же щелк по зубам, и пошел мимо.

Мне немножко жаль сказывать об этой привычке скорого на руку доктора Зеленского, чтобы скорые на осуждение современные люди не сказали: «вот какой драчун или Держиморда», но чтобы воспоминания были верны и полны, из песни слова не выкинешь. Скажу только, что он не был Держиморда, а был даже добряк и наисправедливейший и великодушнейший человек, но был, разумеется, человек *своего времени*, а время его было такое, что зуботычина за великое не считалась. Тогда была другая мерка: от человека требовали, чтобы «никого не сделать несчастным», и этого держались все хорошие люди, а в том числе и доктор Зеленский.

В видах *недопущения болезней*, прежде чем кадет вводили в классы, Зеленский проходил все классные комнаты, где в каждой был термометр. Он требовал, чтобы в классах было не меньше 13° и не больше 15°. Истопники и сторожа должны были находиться тут же, и если температура не выдержана – сейчас врачебная зубочистка. Когда мы садились за классные занятия, он точно так же обходил роты, и там опять происходило то же самое.

Пищу нашу он знал хорошо, потому что сам другой пищи не ел; он *всегда* обедал или с больными в лазарете, или с здоровыми, но не за особым, а за общим кадетским столом, и притом не позволял ставить себе избранного прибора, а садился где попало и ел то самое, чем питались мы.

Осматривал он нас каждую баню в предбаннике, но, кроме того, производил еще внезапные ревизии: вдруг остановит кадета и прикажет раздеться донага; осмотрит все тело, все белье, даже ногти на ногах оглядит – выстрижены ли.

Редкое преполезное внимание!

Но теперь, оканчивая и с ним, я скажу, что у этого третьего известного мне истинного друга детей составляло его удовольствие.

Глава шестнадцатая

Удовольствие доктора Зеленского заключалось в том, что, когда назначенные из кадет к выпуску в офицеры ожидали высочайшего приказа о производстве, он выбирал из них пять-шесть человек, которых знал, отличал за способности и любил. Он записывал их больными и помещал в лазарете, рядом с своей комнатой, давал им читать книги хороших авторов и вел с ними долгие беседы о самых разнообразных предметах.

Это, конечно, составляло некоторое злоупотребление, по если вникнуть в дело, то как это злоупотребление покажется простительно!

Надо только вспомнить, что было наделано с корпусами с тех пор, как они попали в руки Демидова, который, как выше было сказано, получил приказание их «подтянуть» и, кажется, слишком переусердствовал в исполнении. Думаю так потому, что графы Строганов и Уваров, действуя в то же время, ничего того не наделали, что наделал Демидов с корпусами. Под словом «подтянуть» Демидов понял – *остановить образование*. Теперь уже, разумеется, не было никакого места прежней задаче, чтобы корпус мог выпускать таких образованных людей, из коих при прежних порядках без нужды выбирали лиц, способных ко всякой служебной карьере, не исключая и дипломатической. Наоборот, все дело шло о том, чтобы сузить наш умственный кругозор и всячески понизить значение науки. В корпусе существовала богатая библиотека и музей. Библиотеку приказали *запереть*, в музей не водить и наблюдать, чтобы никто не смел приносить с собою никакой книги из отпуска. Если же откроется, что, несмотря на запрещение, кто-нибудь принес из отпуска книгу, хотя бы и самую невинную, или, еще хуже, сам написал что-либо, то за это велено было подвергать строгому телесному наказанию розгами. Причем в определении меры этого наказания была установлена оригинальная постепенность: если кадет изобличался в прозаическом авторстве (конечно, смиренного содержания), то ему давали двадцать пять ударов, а если он согрешил стихом, то вдвое. Это было за то, что Рылеев, который писал стихи, вышел из нашего корпуса. Книжечка всеобщей истории, не знаю кем составленная, была у нас едва ли не в двадцать страничек, и на обертке ее было обозначено: «Для воинов и для жителей». Прежде она была надписана: «Для воинов и *дляграждан*» – так надписал ее искусный составитель, – но это было кем-то признано за неудобное, и вместо «для граждан» было поставлено «*для жителей*». Даже географические глобусы велено было вынести, чтобы не наводили на какие-нибудь мысли, а стену, на которой в старину были сделаны крупные надписи важных исторических дат, – закрасить... Было принято правилом, которое потом и выражено в инструкции, что «*никакие учебные заведения в Европе не могут для заведений наших служить образцом*» – они «*уединоображиваются*»⁵.

⁵ См. не действующее более «Наставление к образованию воспитанников военно-учебных заведений», 24 декабря 1848 года, СПб, Типография военно-учебных заведений. (Прим. Лескова).

Глава семнадцатая

Можно представить: как мы при таком учении выходили учены... А впереди стояла целая жизнь. Добрый и просвещенный человек, каким, несомненно, был наш доктор Зеленский, не мог не чувствовать, как это ужасно, и не мог не позаботиться если не пополнить ужасающий пробел в наших сведениях (потому что это было невозможно), то по крайней мере хоть возбудить в нас какую-нибудь любознательность, дать хоть какое-нибудь направление нашим мыслям.

Правда, что это не составляет предмета заботливости врача казенного заведения, но он же был человек, он *любил* нас, он желал нам счастья и добра, а какое же счастье при круглом невежестве? Мы годились к чему-нибудь в корпусе, но выходили в жизнь в полном смысле ребятами, правда, с задатками чести и хороших правил, но совершенно ничего не понимая. Первый случай, первый хитрец при новой обстановке мог нас сбивать и вести по пути недоброму, которого мы не сумели бы ни понять, ни оценить. Как к этому быть равнодушным!

И вот Зеленский забирал нас к себе в лазарет и подшпиговывал нас то чтением, то беседами.

Известно ли об этом было Перскому, я не знаю, но может быть, что и было известно, только он не любил знать о том, о чем не считал нужным знать. Тогда было строго, но формалистики меньше.

Читали мы у Зеленского, опять повторяю, книги самые позволительные, а из бесед я помню только одну, и то потому, что она имела анекдотическое основание и через то особенно прочно засела в голову. Но, говорят, человек ни в чем так легко не намечается, как в своем любимом анекдоте, а потому я его здесь и приведу.

Зеленский говорил, что в жизнь надо внести с собою как можно более добрых *чувств*, способных порождать добрые *настроения*, из которых в свою очередь непременно должно вытечь доброе же *поведение*. А потому будут целесообразнее и все *поступки*, в каждом столкновении и при всех случайностях. Всего предвидеть и распределить, где как поступить, невозможно, а надо все с добрым настроением и рассмотрением и без упрямства: приложить одно, а если не действует и раздражает, обратиться благоразумно к другому. Он все это из медицины брал и к ней приравнивал и говорил, что у него, в молодой поре, был упрямый главный доктор.

Подходит, говорит, к больному и спрашивает:

– Что у него?

– Так и так, – отвечает Зеленский, – весь аппарат бездействует, что-то вроде *miserere* ⁶.

– *Oleum ricini* ⁷ давали?

– Давали.

И еще там что-то спросил: давали?

– Давали.

– А *oleum crotoni* ⁸?

– Давали.

– Сколько?

– Две капли.

– Дать двадцать!

Зеленский только было рот раскрыл, чтобы возразить, а тот остановил:

– Дать двадцать!

⁶ Жалеть, иметь сострадание (*лат.*); здесь – безнадежное состояние больного.

⁷ касторовое масло (*лат.*)

⁸ крононовое масло (*лат.*)

– Слушаю-с.

На другой день спрашивает:

– А что больной с *miserere*: дали ему двадцать капель?

– Дали.

– Ну, и что он?

– Умер.

– Однако проняло?

– Да, проняло.

– То-то и есть.

И, довольный, что по его сделано, старший доктор начинал преспокойно бумаги подписывать. А что больной умер, до этого дела нет: лишь бы *проняло*.

Поскольку к чему этот медицинский анекдот мог быть приложим, он нам нравился и казался понятен, а уж насколько он кого-нибудь из нас воздерживал от вредного упрямства в выборе сильных, но вредно действующих средств, этого не знаю.

Зеленский служил в корпусе тридцать лет и оставил после себя всего богатства пятьдесят рублей.

Таковы были эти три коренные старца нашего кадетского скита; но надо помянуть еще четвертого, пришлого В наш монастырь с своим уставом, но также попавшего нашему духу под стать и оставившего по себе превосходную память.

Глава восемнадцатая

Тогда был такой обычай, что для преподавания религиозных предметов кадетам высших классов в корпус присылался архимандрит из назначавшихся к архиерейству. Разумеется, это большею частью были люди очень умные и хорошие, но особенно дорог и памятен нам остался *последний*, который был у нас на этом назначении, и с ним оно кончилось. Решительно не могу вспомнить его имени, потому что мы звали их просто «отец архимандрит», а справиться о его имени теперь трудно. Пусть этот будет так, без имени. Он был сердового возраста, небольшого роста, сухощав и брюнет, энергический, живой, с звучным голосом и весьма приятными манерами, любил цветы и занимался для удовольствия астрономией. Из окна его комнаты, выходящей в сад, торчала медная труба телескопа, в который он вечерами наблюдал звездное небо. Он был очень уважаем Перским и всем офицерством, а кадетами был любим удивительно. Мне теперь думается, да и прежде в жизни, когда приходилось слышать легкомысленный отзыв о религии, что она будто скучна и бесполезна, – я всегда думал: «вздор мелете, милашки: это вы говорите только оттого, что на мастера не попали, который бы вас заинтересовал и раскрыл вам эту поэзию вечной правды и неумирающей жизни». А сам сейчас думаю о том последнем архимандрите нашего корпуса, который навеки меня облагодетельствовал, образовав мое религиозное чувство. Да и для многих он был таким благодетелем. Он учил в классе и проповедовал в церкви, но мы никогда не могли его вволю послушаться, и он это видел: всякий день, когда нас выпускали в сад, он тоже приходил туда, чтобы с нами разговаривать. Все игры и смехи тотчас прекращались, и он ходил, окруженный целою толпою кадет, которые так теснились вокруг него со всех сторон, что ему очень трудно было подвигаться. Каждое слово его ловили. Право, мне это напоминает что-то древнее апостольское. Мы перед ним все были открыты; выбалтывали ему все наши горести, преимущественно заключавшиеся в докучных преследованиях Демидова и особенно в том, что он не позволял нам ничего читать.

Архимандрит нас выслушивал терпеливо и утешал, что для чтения впереди будет еще много времени в жизни, но так же, как Зеленский, он всегда внушал нам, что наше корпусное образование очень недостаточно и что мы должны это помнить и, по выходе, стараться приобрести познания. О Демидове он от себя ничего не говорил, но мы по едва заметному движению его губ замечали, что он его презирает. Это потом скоро и высказалось в одном оригинальном и очень памятном событии.

Глава девятнадцатая

Я выше сказал, что Демидов был большой ханжа, он постоянно крестился, ставил свечи и прикладывался ко всем иконам, но в религии был суевер и невежда. Он считал за преступление рассуждать о религии, может быть потому, что не мог рассуждать о ней. Нам он ужасно надо-едал, кстати и некстати приставая: «молитесь, деточки, молитесь, вы ангелы, ваши молитвы бог слышит». Точно ему сообщено, чьи молитвы доходят до бога и чьи не доходят. А потом этих же «ангелов» растягивали и драли, как сидоровых коз. Сам же себя он, как большинство ханжей, считал полным, совершенным христианином и ревнителем веры. Архимандрит же был христианин в другом роде, и притом, как я сказал, он был умен и образован. Проповеди его были не подготовленные, очень простые, теплые, всегда направленные к подъему наших чувств в христианском духе, и он произносил их прекрасным звучным голосом, который долетал во все углы церкви. Уроки же, или лекции его отличались необыкновенною простотою и тем, что мы могли его обо всем спрашивать и прямо, ничего не боясь, высказывать ему все наши сомнения и беседовать. Эти уроки были наш бенефис – наш праздник. Как образец, приведу одну лекцию, которую очень хорошо помню.

«Подумаем, – так говорил архимандрит, – не лучше ли было бы, если бы для устранения всякого недоумения и сомнения, которые длятся так много лет, Иисус Христос пришел не скромно в образе человеческого, а сошел бы с неба в торжественном величии, как божество, окруженное сонмом светлых, служебных духов. Тогда, конечно, никакого сомнения не было бы, что это действительно божество, в чем теперь очень многие сомневаются. Как вы об этом думаете?»

Кадеты, разумеется, молчали. Что тут кто-нибудь из нас мог бы сказать, да мы бы на такого говоруна и рассердились, чтобы не лез не в свое дело. Мы ждали его разъяснения, и ждали страстно, жадно и затаив дыхание. А он прошелся перед нами и, остановясь, продолжал так:

«Когда я, сытый, что по моему лицу видно, и одетый в шелк, говорю в церкви проповедь и объясняю, что нужно терпеливо сносить холод и голод, то я в это время читаю на лицах слушателей: „Хорошо тебе, монах, рассуждать, когда ты в шелку да сыт. А посмотрели бы мы, как бы ты заговорил о терпении, если бы тебе от голода живот к спине подвело, а от стужи все тело посинело“. И я думаю, что, если бы Господь наш пришел в славе, то и Ему отвечали бы что-нибудь в этом роде. Сказали бы, пожалуй: „Там Тебе на небе отлично, пришел к нам на время и учишь. Нет, вот если бы Ты промеж нас родился да от колыбели до гроба претерпел, что нам терпеть здесь приходится, тогда бы другое дело“. И это очень важно и основательно, и для этого он и сошел босой и пробрел по земле без приюта».

Демидов, я говорю, ничего не понимал, но чувствовал, что это человек не в его духе, чувствовал, что это заправский, настоящий христианин, а такие ханжам хуже и противнее самого крайнего севера. Но поделаться он с ним ничего не мог, потому что не смел открыто порицать доброе боговедение и рассуждение архимандрита, пока этот не дал на себя иного оружия. Архимандрит вышел из терпения и опять не за себя, а за нас, потому что Демидов с своим пустосвятством разрушал его работу, портив наше религиозное настроение и доводя нас до шалостей, в которых обнаруживалась обыкновенная противоположность ханжества, легкомысленное отношение к священным предметам.

Глава двадцатая

Демидов был чрезвычайно суеверен: у него были счастливые и несчастные дни; он боялся трех свечей, креста, встречи с духовными и имел многие другие глупые предрассудки. Мы со свойственной детям наблюдательностью очень скоро подметили эти странности главного директора и обратили их в свою пользу. Мы отлично знали, что Демидов ни за что не приедет ни в понедельник, ни в пятницу, ни в другой тяжелый день или тринадцатого числа; но главное всего нас выручали кресты... Один раз, заметив, что Демидов, где ни увидит крест, сейчас крестится и обходит, мы начали ему всюду подготавливать эти сюрпризы; в те дни, когда можно было ожидать, что он приедет в корпус, у нас уже были приготовлены кресты из палочек, из цветных шерстинок или даже из соломинок. Они делались разной величины и разного фасона, но особенно хорошо действовали кресты вроде надмогильных – с покрывечками. Их особенно боялся Демидов, вероятно имевший какую-нибудь скрытую надежду на бессмертие. Кресты эти мы разбрасывали на полу, а всего больше помещали их под карнизы лестничных ступеней. Как, бывало, начальство за этим ни смотрит, чтобы этого не было, а уже мы ухитримся – крестик подбросим. Бывало, все идет, и никто не заметит, а Демидов непременно увидит и сейчас же отпрыгнет, закрестится, закрестится и вернется назад. Ни за что решительно он не мог наступить на ступеньку, на которой был брошен крестик. То же самое было, если крестик оказывался на полу посреди проходной комнаты, чрез которую лежал его путь. Он сейчас отскочит, закрестится и уйдет, и нам в этот раз полегчает, но потом начнется дознание и окончится или карцером для многих, или даже наказанием на теле для некоторых.

Архимандрита это возмущало, и хотя он нам ничего не говорил на Демидова, но один раз, когда подобная шалость окончилась обширной разделкой на теле многих, он побледнел и сказал:

– Я запрещаю вам это делать, и кто меня хоть немножко любит, тот послушается.

И мы дали слово не метать больше крестиков, и не метали, а рядом с тем, в следующее же воскресенье, архимандрит по окончании обедни сказал в присутствии Демидова проповедь «о предрассудках и пустосвятстве», где только не называл Демидова по имени, а перечислял все его ханжеские глупости и даже упомянул о крестиках.

Демидов стоял полотно блее, весь трясся и вышел, не подойдя к кресту, но архимандрит на это не обратил никакого внимания. Надо было, чтобы у них сочинился особенный духовно-военный турнир, в котором я не знаю, кому приписать победу.

Глава двадцать первая

Через неделю, в воскресенье, следовавшее за знаменитою проповедью «о предрассудках», Демидов не сманкировал, а приехал в церковь, но, опоздав, вошел в половине обедни. Он до конца отстоял службу и проповедь, которая на этот раз касалась вещей обыкновенных и ничего острого в себе для него не заключала; но тут он выкинул удивительную штуку, на которую архимандрит ответил еще более удивительною.

Когда архимандрит, возгласив «благословение господне на вас», закрыл царские двери, Демидов вдруг тут же с церкви гласно с нами поздоровался.

Мы, разумеется, как привыкли отвечать, громко отвечали ему:

– Здравия желаем, ваше высокопревосходительство! – и хотели уже поворачиваться и выходить, как вдруг завеса, гремя колечками по рубчатой проволоке, неожиданно распахнулась, и в открытых царских дверях появился еще не успевший разоблачиться архимандрит.

– Дети я *вам* говорю, – воскликнул он скоро, но спокойно, – в храме божьем уместны только одни возгласы – возгласы в честь и славу живого бога и никакие другие. Здесь я имею право и долг запрещать и приказывать, и я вам *запрещаю* делать возгласы начальству. Аминь.

Он повернулся и закрыл двери. Демидов поскакал жаловаться, и архимандрит от нас выехал, а с тем вместе было сделано распоряжение, чтобы архимандритов впредь в корпуса вовсе не назначали. Это был последний.

Глава двадцать вторая

Я кончил, больше мне сказать об этих людях нечего, да, кажется, ничего и не нужно. Их время прошло, нынче действуют другие люди, и ко всему другие требования, особенно к воспитанию, которое уже не «уединообразивается». Может быть, те, про которых я рассказал, теперь были бы недостаточно учены или, как говорят, «не педагогичны» и не могли бы быть допущены к делу воспитания, но позабыть их не следует. То время, когда все жалось и тряслось, мы, целые тысячи русских детей, как рыбки резвились в воде, по которой маслом плыла их защищавшая нас от всех бурь елейность. Такие люди, стоя в стороне от главного исторического движения, как правильно думал незабвенный Сергей Михайлович Соловьев, *сильнее других делают историю*. И если их «педагогичность» даже не выдержит критики, то все-таки их память почтенна, и души их во благих водворяются.

Прибавление к рассказу о кадетском монастыре

В долголетнюю бытность покойного Андрея Петровича экономом 1-го кадетского корпуса там состоял старшим поваром некий Кулаков.

Повар этот умер скоропостижно на своем поварском посту – у плиты, и смерть его была очень заметным событием в корпусе. Кулаков честный человек – не вор, и потому честный эконом Бобров уважал Кулакова при жизни и скорбел о его трагической кончине. После того как Кулаков умер, «стоя у плиты», на смену ему долго не было мужа с такою же нравственною доблестию. Со смертью Кулакова, при всей строгости досмотра со стороны бригадира Боброва, «просел кисель» и «тертый картофель потерял свою густоту». Особенно повредился картофель, составлявший важный элемент при кадетском столе. После Кулакова картофель не полз меланхолично, сходя с ложки на тарелки кадет, но лился и «лопотал». Бобров видел это и огорчился – даже, случалось, дрался с поварами, но никак не мог добиться секрета стирать картофель так, чтобы он был «как масло». Секрет этот, быть может, навсегда утрачен вместе с Кулаковым, и потому понятно, что Кулакова в корпусе сильно вспоминали, и вспоминали добром. Находившийся тогда в числе кадет Кондратий Федорович Рылеев († 14-го июля 1826 года), видя скорбь Боброва и ценя утрату Кулакова для всего заведения, написал по этому случаю комическую поэму в двух песнях, под заглавием «Кулакиада». Поэма, исчислив заслуги и доблести Кулакова, описывает его смерть у плиты и его погребение, а затем она оканчивалась следующим воззванием к Андрею Петровичу Боброву:

Я знаю то, что не достоин
Вещать о всех делах твоих:
Я не поэт, я просто воин, —
В моих устах нескладен стих,
Но ты, о мудрый, знаменитый
Царь кухни, мрачных погребов,
Топленным жиром весь облитый.
Единственный герой Бобров!
Не осердися на поэта,
Тебя который воспевал,
И знай – у каждого кадета
Ты тем навек бессмертен стал.
Прочтя стихи сии, потомки,
Бобров, вспомнут о тебе¹,
Твои дела вспомнут громки
И вспомнят, может быть, о мне.

9

Таков и есть Бобров на его единственном карандашном портрете, «царь кухни, мрачных погребов», «топленным жиром весь облитый, единственный герой Бобров».

И еще один анекдот.

Бобров ежедневно являлся к директору корпуса Михаилу Степановичу Перскому рапортовать «о благополучии». Рапорты эти, разумеется, чисто формальные, писались всегда на листе обыкновенной бумаги и затем складывались вчетверо и клались Боброву за кокарду треуголки. Бригадир брал шляпу и шел к Перскому, но так как в корпусе всем было до Боброва

⁹ 1 Вариант: Вспомнут, мудрый, о тебе. (Прим. Лескова.).

дело, то он по дороге часто останавливался для каких-нибудь распоряжений, а имея слабость горячиться и пылить, Бобров часто бросал свою шляпу или забывал ее, а потом снова ее брал и шел далее.

Зная такую привычку Боброва, кадеты подшутили над своим «дедушкой» шутку: они переписали «Кулакиаду» на такой самый лист бумаги, на каком у Андрея Петровича писались рапорты по начальству, и, сложив лист тем же форматом, как складывал Бобров свои рапорты, кадеты всунули рылеевское стихотворение в треуголку Боброва, а рапорт о «благополучии» вынули и спрятали.

Бобров не заметил подмена и явился к Перскому, который Андрея Петровича очень уважал, но все-таки был ему начальник и держал свой тон.

Михаил Степанович развернул лист и, увидав стихотворение вместо рапорта, рассмеялся и спросил:

– Что это, Андрей Петрович, – с каких пор вы сделались поэтом?

Бобров не мог понять, в чем дело, но только видел, что что-то неладно.

– Как, что изволите... какой поэт? – спросил он вместо ответа у Перского.

– Да как же: кто пишет стихи, ведь тех называют поэтами. Ну, так и вы поэт, если стали сочинять стихи.

Андрей Петрович совсем сбился с толку.

– Что такое... стихи...

Но он взглянул в бумагу, которую подал в сложенном виде, и увидел в ней действительно какие-то незаконно неровные строчки.

– Что же это такое?!

– Не знаю, – отвечал Перский и стал вслух читать Андрею Петровичу его рапорт.

Бобров чрезвычайно сконфузился и взволновался до слез, так что Перский, окончив чтение, должен был его успокаивать.

После этого был найден автор стихотворения – это был кадет Рылеев, на которого добрейший Бобров тут же сгоряча излил все свое негодование, поскольку он был способен к гневу. А Бобров при всем своем бесконечном незлобии был вспыльчив, и «попасть в стихи» ему показалось за ужасную обиду. Он не столько сердился на Рылеева, как вопиял:

– Нет, за что! Я только желаю знать – за что ты меня, разбойник, осрамил!

Рылеев был тронут непредвидимую им горестью всеми любимого старика и просил у Боброва прощения с глубоким раскаянием. Андрей Петрович плакал и всхлипывал, вздрагивая всем своим тучным телом. Он был слезлив, или, по-кадетски говоря, был «плакса» и «слезомойка». Чуть бы что ни случилось в немножко торжественном или в немножко печальном роде, бригадир сейчас же готов был расплакаться.

Корпусные солдаты говорили о нем, что у него «глаза на мокром месте вставлены».

Но как ни была ужасна вся история с «Кулакиадою», Бобров, конечно, все-таки помирился с совершившимся фактом и простил его, но сказал при том Рылееву назидательную речь, что литература вещь дрянная и что занятия ею никого не приводят к счастью.

Собственно же для Рылеева, говорят, будто старик высказал это в такой форме, что она имела соотношение с последнею судьбою покойного поэта, которого добрый Бобров ласкал и особенно любил, как умного и бойкого кадета.

«Последний архимандрит», который не ладил с генералом Муравьевым и однажды заставил его замолчать, был архимандрит Ириной, впоследствии епископ, архиерействовавший в Сибири и перессорившийся там с гражданскими властями, а потом скончавшийся в помрачении рассудка.

Впервые опубликовано – «Исторический вестник», 1880.

Русский демократ в Польше

Это – маленькая историйка, но я думаю, что ее тоже, пожалуй, можно примкнуть к рассказам «о трех праведниках». Так говорил мне почтенный старец, со слов которого я записал рассказ об иноках кадетского монастыря, а теперь в виде *post-scriptum* записываю еще одно последнее сказание.

Глава первая

Я поступил на службу прямо по выходе из корпуса в канцелярию главнокомандующего действующею армиею генерал-фельдмаршала князя Паскевича. Это было в тридцать втором году, в январе месяце – значит, вскоре после покорения Варшавы, которая взята в августе тридцать первого года. Директором этой канцелярии был действительный статский советник Иван Фомич Самбурский, про которого и пойдет моя речь. Его позабыли, и история о нем умалчивает, а он был человек замечательный и, по моему мнению, даже исторический.

Самбурский был малоросс и имел репутацию человека необыкновенного ума и способностей, а также отличался честностью и непреклонностью убеждений. Тогда еще на службе такими людьми иногда дорожили, и если не всегда, то хоть изредка о них вспоминали и думали, что без них нехорошо, что они нужны. Притом же Иван Фомич был невообразимо деловит: буквально не было занятия, к которому он был бы неспособен и, взявшись за которое, оказался бы не на своем месте. О честности же, разумеется, и говорить нечего – на одних комиссионерах и интендантах миллион мог нажить, а он ничего не наживал и для всех воров был неодолим. Всякую хитрость провидит и *округлит*. Это было известно, и потому при назначении Ивана Фомича в директора канцелярии при Дибиче ему было положено двойное жалованье.

Обязанности директора канцелярии были очень большие и чрезвычайно разносторонние. По взятии Варшавы, тут сосредоточивалась и военная, и гражданская переписка по всему Царству Польскому; он должен был восстановить русское правление вместо революционного; привести в известность статьи доходов и образовать правильный приход и обращение финансов. Вообще требовалось организовать дело, которое после военного разгрома представляло обыкновенный в таких случаях хаос.

Это труд огромный и почтенный, но неблагодарный. Он требует человека свыше обыкновенных способностей и поглощает его всего; а между тем деятельность его не видна и остается почти незамечаемою, так сказать, черною работою, вроде уборки чего-то в тылу.

Нынче, может быть, это еще лучше, потому что теперь о тыле располагают совсем иначе, но тогда вся слава и честь почиталась быть на виду – впереди, в опасности. В тылу тогда, бывало, остаются не иначе, как плачучи. Ну, а уже что при таком взгляде могла значить канцелярская крыса, – это понять не трудно. Штатские, впрочем, тогда и повсеместно мало где и за людей были почитаемы. Такое время было, и за это нечего сердиться. У всякого времени свои странности, а одна из тогдашних странностей была – пренебрежение ко всем невоенным занятиям. Исключение делали для одного графа Сперанского, но и то ставили это себе за неприятную необходимость. Удивительно вспомнить, как люди, бывало, с особенною серьезностью внушали, что «Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное и призвание его быть грозою света»... Хомяков сказал: «мы долго верили среди восточной лени и грязной суеты» и проч., – и действительно, верили. Так часто тогда повторялось это мудрое изречение, что, бывало, наслушаешься и начнешь верить. Крым это поисправил, а то меры не было вздорам. Рассказывали, например, какие-то полудикие анекдоты, как пришли два офицера в трактир и, видя двух штатских, говорят лакею: «Поддай нам двух титулярных советников!» Тот недоумевает, а они ему объясняют вслух, что титулярные советники – это рябчики. В ответ на это один из штатских говорит: «а нам, братец, дай двух поручиков под хреном». Лакей опять недоумевает, а штатский изъясняет ему гласно, что поручики – это поросята. Этот глупый анекдот выражал настроение.

Я сам помню, как раз вечерком, на том месте Казанской площади, у садика, где теперь часто стоит тележка чухонца с выборгскими кренделями, иду я домой, а передо мною идут два офицера и говорят:

– Видишь штафирку?

Другой отвечает: вижу.

И указывают друг другу на чиновника, который покупает крендельки и завязывает их в платочек. Верно, человек бедный был, потому что шляпенка на нем рыженькая, и сам он тощий, заморенный, а на нем шинелька суконная, ветхая, подол подтрепан и разрез сзади, – как это делалось.

Один офицер говорит: давай, разорвем его.

Другой отвечает: давай.

И тут же, на моих глазах, взяли его за край шинельного разреза, потянули в разные стороны и располосовали пополам до самого воротника. Только пыль из старого суконца посыпалась, и крендельки он свои, бедняк, разронял. А все это совершенно ни за что, да и без злобы, а так, можно сказать, по глупой манере носились сами с собою в каком-то священном восторге и как зыкливые телята брыкались. Я же вам об этом упоминаю для того, чтобы показать, какой был дух времени и какое царствовало неблагоприятное для гражданской деятельности настроение – особенно в кругу тесного соприкосновения с людьми военными.

Глава вторая

Самбурский, с его правильным умом, конечно, отлично понимал свое время и потому, идучи в директоры канцелярии, знал как устроиться. Он позаботился не только о деньгах, которых у него не было и на которые он, естественно, имел право, принимая на себя труд большой и чрезвычайно ответственный, но он выговорил себе и такое положение, чтобы ему не быть пешкою. Он не хотел быть слепым исполнителем чьих-либо случайных фантазий, а желал иметь необходимую для пользы службы свободу выбора людей и плана действий, равно как и средств к их исполнению. С князем Иваном Федоровичем это было еще необходимее, чем с Дибичем, который был очень толковый администратор. С Паскевичем было труднее, ввиду очень многих свойств его характера и манеры распоряжаться: иные из его распоряжений, бывало, не только неудобно исполнить, но даже иногда нельзя и понять.

Я не знаю, как понимал Паскевич в точности огромные способности Самбурского, на мой взгляд, представляющиеся необычайными; но знаю, что он в душе ценил его превосходную честность. Мне известно также, что он был прельщен одним анекдотом, который относился к юношеским годам Ивана Фомича и заключался в следующем.

Самбурский был бедный человек и нуждался в работе. Работать он мог, разумеется, только пером, к чему имел счастливый дар прекрасного изложения мыслей спокойно плавно и вразумительно. Когда хотел тронуть или обличить и доказать справедливость, – был неподражаем. С этой стороны он сделался известен по поводу прошения, написанного им для одной бедной мелкопоместной дворянки, тяжело оскорбленной богатым соседом. Прощение это, поданное императору Александру Павловичу в четверг на Страстной неделе, растрогало его величество до слез, и государь спросил: «Кто писал?» Вдова назвала Самбурского. И это обратило на него внимание многих. Что же касается самого предмета просьбы, то император велел переследовать неправильно решенное дело, и вдова после многих лет обид и страдания была восстановлена в своем праве. Самбурский писал мастерски, может быть, отчасти потому, что он превосходно чувствовал, вдохновенно проникал справедливость и любил постоять за нее без страха.

Все это у него шло свободно, вольно, натурально, с какою-то поэтической отвагою типичного хохла. Глядя на него, бывало, не раз вспоминаешь чье-то верное замечание о малороссах, что между ними очень редко встречается середина в нравственности. Нигде природы не бывают цельнее и даже отчасти прямолинейнее, как в Малороссии. Там, если честный человек, так ничем его не своротить, и негодяи, если задаются, так тоже бывают ничем не исправимые. Самбурский, разумеется, был из хохлов первого сорта.

Но я отбиваюсь от анекдота, который располагал к Самбурскому Паскевича, и едва ли не был, быть может, главным поводом, почему фельдмаршал уважал его.

Был какой-то ученый, какой-то трудной специальности, говорили, будто астроном. Ему надо было написать ученое сочинение на какую-то степень по этому предмету, который он хорошо знал, но был совершенно бездарен. Сидел, сидел этот ученый, мучился и пришел в отчаяние, а Самбурский был к ним вхож и в доме дружен. Видит он это горе, день, два, месяц, давал советы, обещал помощь и, наконец, рассердясь, говорит:

- Да расскажи ты мне все, что тебе надо написать. Тот отвечает:
- Это нельзя, – это целый предмет.
- Ну, и рассказывай целый предмет.

Принудил рассказать, выслушал, а через неделю приносит написанную диссертацию.

Может быть, тут что-нибудь раздуто и преувеличено, – я не знаю, но дословно такой анекдот ходил о Самбурском, и многие передавали его даже едва ли не так, что Иван Фомич не знал астрономии, но всю ее проник одною силою своего острого ума.

Вообще по всему можно было видеть, что фельдмаршал считал своего директора за человека необыкновенного, которого надо было уважать; но тем не менее это не помешало им разойтись довольно смешно и, так сказать, анекдотически. Поводом к этому послужило их несогласие в оригинальном вопросе о самоварах, которым Иван Фомич Самбурский надумал дать государственную роль в истории.

Глава третья

По благородной простоте характера Ивана Фомича, у нас канцелярия была будто его семья. Она вся была небольшая, кажется, человек из десяти, но как в ней составлялись бумаги самого секретного содержания, то в ней люди были собраны с большою осторожностью и по самым надежным рекомендациям. Но раз как человек был принят, Иван Фомич терпеть не мог показывать, что он его остерегается или имеет к нему неполное доверие. Эта дрянная, хотя весьма распространенная, манера душ мелких и подозрительных была чужда его благородному и дальновидному уму. Самбурский знал, что единодушие ничем так не достигается, как любовью, и имел благоразумие дорожить сердечными чувствами своих младших сотрудников. Молодых людей он старался знать со стороны их способностей и в минуты своего небольшого отдыха всегда с ними беседовал, о чем приходило ему в голову. Этим способом он всегда знал настроение наших мыслей и силу сообразительности. Бывало, поговорит, поговорит, да смотришь и даст работу, из назначения которой видишь, что он тебя уже совсем и смерил. Такого начальника, разумеется, мудро не любить и не ценить, и мы все были к нему очень привязаны.

Правая рука его у нас был начальник отделения Лахтин, очень образованный человек, с которым Самбурский любил посоветоваться. Но и советы совещал он не по официальному, а по-семейному, т. е. не наедине, «при закрытых дверях», в насмешку над которыми тайны, за ними сказанные, очень быстро разносятся, а Самбурский говорил прямо при нас, молодых людях, как бы приучая тем нас к скромности на всяк час, без особых предупреждений.

Однажды, когда мы таким образом все были в сборе за своим делом, Самбурский поднял голову от бумаг, назвал Лахтина по имени и отчеству и спросил его: очень ли он занят, – что он хотел бы с ним поговорить.

Лахтин отвечал, что у него в эту минуту особенных занятий нет и он готов к его услугам.

Самбурский и говорит:

– Давно я думал об одном предмете, а нынче бессонною ночью, ворочая его со стороны на сторону, кажется, додумался до чего-то похожего на дело. Не знаю, каков будет об этом ваш суд, но мнение ваше знать очень желаю.

Лахтин отвечал, что он слушает со вниманием. Мы же оставались, как всегда бывало, при своих местах.

Несмотря на милую доброту Ивана Фомича, все мы держали себя с ним крайне почтительно.

Глава четвертая

– Каждое царствование, – начал Самбурский. – мы ведем здесь побоища с поляками, но самое огромное побоище было теперь; оно стоило денег двести миллионов, а человеческих жертв шестьдесят тысяч. Это меня приводит в ужас. Сколько вдов, сирот и стариков, которых кормить некому после такой победы? За это надо ответ дать богу, а между тем мы от своей роли здесь отказаться не можем, пока не устроим своих единоверных в Литве и в юго-западном крае. Польша – бог с ней; но своих мы никак не можем оставить на произвол судьбы.

Самбурский, ошибался он или нет, был того мнения, что Польша нам *не нужна* и составляет для нас вопрос только, пока не упрочены как надо юго-западный край и Литва. Поэтому он и проектировал все свои меры для этой окраины и был уверен, что если те меры выполнить, т. е. если Литва, Волынь и Подолия сделаются совершенно русскими, то о Польше и говорить не стоит и беречь ее при себе не для чего. Тогда она лезть к нам под бок не может чрез сплошное единоверное нам население с русским дворянством и беспокоить нас не будет. А что касается собственного ее значения для России, то Самбурский сводил его к нулю и говорил:

– Надо желать, чтобы она сделалась самостоятельной, надо ее сделать таковою и бросить. Тогда ее сейчас же сожрут немцы и запаху ее не останется.

Он даже думал, что Польша нам вред и болезнь.

– Наполеон, говорит, ошибался, называя Кавказ нашим вечным чирьем, – настоящий вечный чирый наш – Польша, и мы ее будем таскать, пока не загородимся полосой западного края, а саму Польшу бросим. Иначе она нам нагадит, напустит внутреннего разлада (что, кажется, и сбывается). Но я возвращаюсь к прерванному разговору Самбурского с Лахтиным.

– Непременно, – сказал Самбурский, – надо на будущее время сделать невозможными такие кровопролития; а если вести дела так, как они ведутся, то нет никаких оснований предполагать, что это когда-нибудь кончится. Усмирим мятеж, подсечем старые корни, а молодые побеги опять отрыгнут, и через несколько лет снова готова такая же история.

Лахтин качнул в знак согласия головою и сказал:

– Это иначе и быть не может.

– Да; это очень естественно, – согласился Самбурский: – если прилагать к нашим правам с Польшей один узкий масштаб военных занятий западного края, то это не может быть иначе. Пушки и ружья, по моему мнению, не имеют того влияния, какое нужно, чтобы раз навсегда отучить поляков от неуместных претензий на Литву и на юго-западный край, населенный народом, который поляков не любит. Нужно еще особое орудие.

– Какое же?

– А вот отгадайте.

– Не могу, – отвечал Лахтин.

Самбурский улыбнулся и сказал:

– Это оружие – самовар.

– Что-о такое?!

– Самовар-с, самовар, Николай Андреевич, – простой русский самовар.

Тут уж и мы, «молодые люди», слыша, что наши набольшие договорились до таких странностей, перестали работать и подняли головы с недоумением, чем это разъяснится: серьезным делом или шуткою.

– Приходило ли вам когда-нибудь на мысль положение престарелого офицера? – продолжал Самбурский.

– Очень много раз приходило, – отвечал Лахтин.

– Вот видите! Значит, у кого есть некоторый жар в сердце и любовь к человечеству, то ко всякому такому человеку этот вопрос бьется. Это недаром: в чье-нибудь сердце он хочет

достучаться. Теперь посмотрите дальше, сколько у нас в армии из офицеров людей женатых, особенно вверх от капитанского чина... Это уже настоящие страстотерпцы: служат они, и на службе им нет никакой радости, а под старость и угла нет, где приклонить голову. Хорошо, который куда-нибудь городничим попадет, да будет морковью или потрохами на базаре взятки брать или у арестантов из трехкопеечного содержания половину воровать станет. Но ведь очень немного таких счастливых, которым такая карьера выпадет, а то жаль смотреть, чем занимаются...

Лахтин отозвался:

– Это правда!

– Да как же не правда! – продолжал Самбурский. – Пока молод да легкомыслен, он и в восторге: его занимает, что и шпоры звенят, и эполеты блестят, а как с годами в разум начнет приходить, так, ведь, – сделайте вашу милость... мишура-то слетит и очень горько станет.

– Ропщут, – молвил Лахтин.

– Да; ропщут, но очень мало ропщут, – отвечал, продолжая материть, Самбурский: – удивительные люди, – праведники. Иной бы, поди, какого шума наделал и целый бы век все визжал, а наш с сердцов за чаркой зелена вина где-нибудь выругается, а потом завьет горе веревочкой, да так всю жизнь с обрывком и ходит. Только не дергай его за этот узелок, потому что у него тут больное место завязано. Все, все простить ему надо, и даже свечку поставить. Служил как следует, сколько раз его могли убить и изувечить, а другой, может быть, и изувечен, а между тем, война кончится, состав войск введется на мирное положение, и тысячи этих отставных слуг отечества идут в заштат. Разумеется, это в порядке вещей, да смотреть-то на них жалко в этом положении. Хорошо, который куда-нибудь на частную должность примкнет к откупу, или к какой конторе... Разумеется, не особенно высокоблагородно, но, по крайней мере, спрятан от когтей нужды и питается; а то на выдумки идут: янтарьки продают, просьбы по постоянным дворам пишут, в трактирах фокусы показывают, – всего и не перечесть.

– И не дай бог, – вставил Лахтин.

– Именно, не дай бог, а между тем в таком печальном исходе совсем нет никакой необходимости. Если об этом хорошенько подумать, то есть даже средство не только оказать оторванным от мирных занятий военным людям справедливость, но выставить прямо отечество благодарным к своим слугам, – и в то же время за один прием достигнуть высшего государственного плана – пресечь возможность повторения беспокойной аристократической крамолы. Вот в чем дело: вам, как и мне, известно количество казенных и конфискованных магнатских земель на Литве и в юго-западном крае. Казне они не принесут дохода, – все съест администрация. По-моему, выгоднее будет отдать их в частные руки. Я сообразил и расчел, что из них можно накрошить двадцать пять тысяч небольших помещичьих имений, из которых каждое может приносить от пяти до шести тысяч годового дохода.

– Я думаю, вы не ошиблись, – сказал Лахтин.

– Расчет мною сделан верно. Необходимо только, чтобы все эти земли явились в трудолюбивых руках, и именно в руках воинов, поработавших для водворения здесь русского владычества. Офицеры в правах и в истории малосведущи, но они хорошо знают, чего им стоило усмирить разыгравшийся здесь мятеж, и потому оценят все настоящим образом, без фантазии. Притом же это будет им справедливым вознаграждением, за которое они будут благодарны правительству и усугубят свою преданность. А чтобы и казна своего не теряла – даром ничего давать не нужно, даровое всегда слабо ценится. А надо благоразумно перевести эти земли из непроизводительного казенного управления в частные руки, и для этого есть средства. Стоит только образовать банк или другое какое кредитное учреждение с специальной целью помочь приобретению этих земель русскими воинами на льготных для выплаты условиях, и цель эта будет вполне достигнута. А когда на двадцати пяти тысячах мест станут двадцать пять тысяч русских помещичьих домиков, да в них перед окнами на балкончиках задымятся двадцать пять

тысяч самоваров и поедет сосед к соседу с семейством на тройках, заложенных по-русски, с валдайским колокольчиком под дутою, да с бубенцами, а на козлах отставной денщик в тверском шлыке с павлиньими перьями заведет: «Не одну во поле дороженьку», так это будет уже не Литва и не Велико-Польша, а Россия. Единоверное нам крестьянское население как заслышит пыхтенье наших веселых тульских толстопузиков и расстилающийся от них дым отечества, – сразу поймет, кто здесь настоящие хозяева, да и поляки увидят, что это не шутка и не «збуйство да здрайство», как они называют наши нынешние военные нашествия и стоянки, а это тихое, хозяйственное заселение на всегдашние времена, и дело с восстаниями будет покончено.

Лахтин вскричал:

– Это великолепно!

– Вы одобряете?

– Великолепно. Иван Фомич, великолепно!

А мы, – хотя нас не спрашивали, – под влиянием пропекшего нас горячего чувства, все встали, поклонились Ивану Фомичу и без уговора сказали ему:

– Бог в помощь! Бог в помощь!

Он откланялся нам жестом руки и сказал:

– От души благодарю, господа, – ваше сочувствие мне дорого и дай бог, чтобы наше – как вижу – общее желание исполнилось ко благу нашей родины. А чтобы не оставаться долго на этот счет в томительной нерешимости, – я сейчас отправлюсь к фельдмаршалу и сейчас же представлю ему мою мысль.

Он встал, перекрестился, сказал: «Господи благослови!» – и вышел.

Мы, провожая его глазами, желали ему удачи. И хотя все это происходило в канцелярии, где торжественных минут сердечного восхищения по штатам не полагается, но тут оно было. Мы чувствовали, как сердца наши в нас горели, при мысли, что целые двадцать пять тысяч семейств наших военных трудников разведут себе по домам и на полянках свои самовары и станут попаривать своим чайком свои косточки, под своею же кровлею, которую дало им за их кровную службу отечество.

Конечно, может быть, теперь за это кто-нибудь и осудит, но надо было быть ближе к тому времени, которого это касается, и видеть воочию мужественных людей, судьбу которых по отставке просто и трогательно нам вспомнул Иван Фомич. Тогда станет понятно то чувство, какое мы испытывали, и оно было действительно патриотическое чувство, хотя и родилось в канцелярии.

Глава пятая

Вечером мы в своих кружках думали и гадали: каковы могут быть последствия смелого и, как нам казалось, гениального по своей простоте предложения Ивана Фомича? Нам казалось невозможным, чтобы фельдмаршал не внял его представлениям и не позволил изыскать средства к их осуществлению.

Один только, – был у нас другой начальник отделения, Ивашин, с русской фамилией, но хохол, он был грубоват и выражался не изысканно, – так он не то что сомневался, но не отрицал возможности сомнения, и тем нас огорчал. Он, лениво цедя слова сквозь зубы, сказал:

– Перестаньте угадывать и ждите утра: не угадаете; может случиться и то, чего не может быть. Совершенно невозможно на свете только одно, – козырного туза покрыть, этого уже никакой чудотворец не сделает.

Добрейший Яков Фомич (так звали Ивашина) был и умник, и делец, и характера самого достойного, но любил, к своему наследственному гадяческому или кролевещкому остроумию, подпустить благоприобретенного волтерьянства. Особенно он лих был насчет чудес, которые имел слабость считать личною для себя обидою, и всегда имел при себе наготове этого козырного туза, которого, по его словам, «никакой чудотворец не покроет».

Но ночь прошла в мирном сне, или, кому спать не хотелось, – в других каких-либо занятиях, а наутро приходит в канцелярию Лахтин и говорит:

– Свидание Ивана Фомича с фельдмаршалом было как нельзя больше благоприятно. Больше ничего вам сказать не могу, но Иван Фомич сам все расскажет.

Самбурский как пришел, подписал заготовленные к этому дню бумаги и потом говорит:

– Поздравляю всех вас, господа, с радостною работою. Фельдмаршал, выслушав мои соображения, о которых здесь вчера было говорено, изволил выразить этому делу свое сочувствие и желает, чтобы были составлены самые точные и полные сведения с возможно подробным кадастровым описанием, по которому можно было бы судить о достоинстве и стоимости имений. Это работа сложная и трудная, потому что мало данных, но тем более чести ее исполнить, и я надеюсь, что тут мы себя покажем достойными его доверия и исполним все как только возможно и с большою радостию.

Действительно, работали с радостию. Откуда только что возможно было выбрать – все собрали. А сам Иван Фомич в это время изготовил свой проект, который, как все им писанное, был изложен мастерски и пошел в ход. Прежде чем готовы были наши кадастры и сметы, потребные уже к заключительному дележу и рассадке двадцати пяти тысяч наших воинов, которые должны были поставить свои самовары и напустить здесь приятного отечественного дымку, князь был введен Самбурским во все его соображения.

Все остальное делалось скоро, мы спешили изготовить дело к поездке фельдмаршала в Петербург, и изготовили так благовременно, что он мог до отъезда изучить и детали дела. Это было необходимо для обстоятельного объяснения на каждый могущий возникнуть в Петербурге вопрос. Самбурский был очень доволен, что князь вникает в дело внимательно и даже делает себе отметки о землях.

Последнее было тем радостнее, что Иван Фомич, имевший на руках кучу дел, не мог оставить Варшавы и не сопровождал фельдмаршала. Стало быть, очень важно было, чтобы он все знал и мог все совершить, не требуя каких-нибудь частных разъяснений.

Самбурский не ошибся: фельдмаршал, действительно, вполне овладел предметом и сочинил собственный план, как этим делом распорядиться.

Глава шестая

Паскевич уехал, а мы в это время в своей канцелярии все возились с эмеритурою и вообще уравнением русских чиновников в выгодах службы с чиновниками из поляков, которые имели многие преимущества. У нас это дело поднимал и горячо, но безуспешно разработывал Ивашин, а мы все ему помогали, только без пользы. Это отсрочилось до новых историй, когда нас там уже не было. При нас, как ни горячился Ивашин, русские чиновники военного министерства все получали за выслугу 35 лет 150–200 р. пенсии, а чиновники Царства Польского из поляков по той же должности получали за выслугу 25 лет по 6.000 злотых эмеритального пенсiona. Ивашин представил это Паскевичу, и тот нашел это неправильным и позволил открыть переписку с разными ведомствами. Всем нам хотелось упорядочить это так, – чтобы русским не обидно было против поляков, но не вышло по-нашему. Сведения о штатах доставлялись плохо, и это нам причиняло много хлопот, за которыми мы и не заметили, как прошло время отъезда светлейшего и он снова вернулся в Варшаву.

Перед возвращением князя ни снов никто не видал, ни мыши из нор не выходили, ни невидимая нежить тяжелою ступнею по полу не расхаживала и не трещала половицами, словом, ничто никого не выживало, а между тем для всех нас был готов удар, самый неожиданный и очень вредный для дела, но отчасти и не лишенный комизма, или, лучше сказать, горькой иронии.

Самбурский виделся с фельдмаршалом по его возвращении не из первых, и притом не с глазу на глаз, а на официальном выходе.

Иван Фомич не был самолюбив в дурном смысле этого слова, да и укола в этом его самолюбию не было, но было другое, чего он имел причины не желать и опасаться. Было заметно, что светлейшему как будто неловко или, по крайней мере, неприятно что-то сообщить своему директору, которого умом и соображениями он сам гордился, а честность его уважал.

Но, конечно, игры нельзя было тянуть долго: при первом же докладе, будет или не будет речь о том, что фельдмаршалу неприятно, – Самбурский с его прозорливостью прочтет князя; да и самому князю, который никого не боялся – нескладно же так институтски конфузиться лица ему подчиненного, каким был Самбурский.

Паскевич, конечно, все это знал и не мог поступить иначе, как поступил.

Глава седьмая

Самбурский возвратился с доклада князю не скоро, но сошел в канцелярию спешными шагами, был красен и расстроен.

Он роздал начальникам отделения Ивашину и Лахтину принесенные с собою бумаги и послабив пальцем галстук сказал:

– Господа! я с вами прощаюсь.

Услыхав это, мы все вскочили с мест и, забыв всякую дисциплину, бросились к нему и осыпали его вопросами: что, как и для чего?

– Я подаю в отставку.

Все опять заговорили:

– Для чего, Иван Фомич, для чего?

Он отвечал, представление мое решено иначе, – князь имеет майорат, который должен приносить 200.000 злотых, несколько других лиц получили меньшие участки с доходами тысяч до 60 и т. д. Вместо многих маленьких русских оседлых помещиков будет только очень немного крупных, и притом таких, которые никогда в своих деревнях не сидят, – самоваров на стол не ставят и за чаем по-русски не говорят. Такого оборота я не ожидал и не мог предвидеть, по эта игра не стоит свеч. Если бы я знал, что это случится, то я задушил бы в себе эту мысль, которую столько времени носил и в значении которой для России и для Польши не сомневаюсь. Но теперь она совершенно испорчена и, чтобы ее поправить, надо ожидать нового восстания и новых конфискаций... Без этого и не обойдется, но одно соображение об этом меня угнетает. Я этого снести не могу.

Мы заговорили:

– Ну что, Иван Фомич, – все может измениться: фельдмаршал вас уважает и любит...

– Да; благодарю его, – перебил Самбурский: – он меня не забыл, – мне тоже предложено выбрать себе майорат, но я этим не воспользуюсь, – я от него отказался. Передо мною была открыта возможность полнейшей оценки всех земель и угодий вовсе не за тем, чтобы я мог выбрать себе лучшее. Служить каждому правительству нужно честно, а тем более правлению монархическому, где государь один правит, и потому кому он верит, тому грех и стыд не хранить и не беречь его доверие, а думать о себе. От этого падает уважение ко всему правительству. В разговоре со мною было употреблено слово «демократ». Оно шло, очевидно, по моему адресу... Что же, – я принимаю и не обижаюсь; демократ не демагог. Быть демократом, между прочим, значит желать счастья возможно большему числу людей. Я этого желаю, и, по-моему, в этом нет ничего дурного. Аристократия желает противоположного; господства своего меньшинства. «Нельзя без аристократии». Есть такой взгляд, но только я его не разделяю. Аристократии есть место в Англии, и там я ее понимаю, хотя и там считаю несправедливою и недолговечною; – роль аристократизма в польской истории вижу только губительную, а в русской истории никакого места аристократизму вовсе не нахожу, ибо строй нашей монархии демократический. В другие начала я не верю и служить им не могу. У меня есть хлеб, – пенсия, который я выслужил, а у жены моей в Петербурге, на Воскресенской набережной, есть домик, в котором мы и можем дожить нашу старость. Прощайте: служите честно, а меня не уговаривайте остаться. – При этом он горько улыбнулся и, обратясь с шутливою ирониею к Ивашину, добавил:

– Ваше взяло, Яков Фомич, – козырного туза, действительно, ничем не покроешь, а мои самоварчики заглохли и с тем роль моя кончена.

Так оно и было для него кончено. Он выехал из Варшавы, имея те же ограниченные достатки, с какими приехал. Поляки, считавшие Самбурского человеком справедливым и весьма его уважавшие, были, однако, чрезвычайно рады его падению. Его план о двадцати

пяти тысячах самоваров сделался им известен через закрытые двери Петербурга или Варшавы и напугал их хуже самых больших пушек. Они ужаснулись этого плана, вредоносность которого для всех их затей была так очевидна по его необыкновенной простоте и органической прочности. Отдача казенных и конфискованных земель большими майоратами, в сравнении со страшным планом о самоварах, казалась легкою и сравнительно совсем неопасною для польского патриотизма, – что и оправдалось.

Самбурский выехал скоро; с фельдмаршалом они прощались в палатке, которая стояла у Паскевича в комнате. Разлука, вероятно, была теплая, потому что Самбурский, выйдя, казался растроганным. На виду пред всеми они еще поцеловались, а когда Иван Фомич возвратился домой, прислуга, убиравшая его плащ, нашла в его кармане и подала Самбурскому пакетик, в котором оказалась записочка на польском языке. Это было нечто вроде диплома, выданного «действительному русскому демократу Самбурскому» на звание «государственного самовара» (*samowara państwa*).

Над этой польской шуткой, которую немудрено было устроить в многолюдной лакейской, конечно, только и оставалось посмеяться.

Глава восьмая

Вместо Самбурского директором канцелярии был назначен Я—ч, человек совсем другого сорта и других правил. Он на первых же порах столкнулся с Ивашиным, который все еще продолжал хлопотать об эмеритуре для русских чиновников. Повздорив с начальником отделения, новый директор сказал ему:

– Я не могу с вами служить.

– И мне тоже это очень неприятно, – отвечал Ивашин: – просите себе перемещения или выходите в отставку.

Того это ужасно обидело, и он пожаловался Паскевичу.

– Ты ничего не понимаешь, и должен ценить людей, которых тебе оставил Самбурский, – отвечал фельдмаршал. А докучное дело об уравнивании служебных выгод, приносившее много хлопот по сношениям, приказал «бросить».

Всему этому надо было долежаться до позднейшего времени и до других русских деятелей, которым удалось сделать в этих вопросах более того, что мог сделать Самбурский. Чести их это, разумеется, нимало не уменьшает, но для исторической верности и справедливой оценки событий, может быть, не лишнее знать, что идеи князя Владимира Александровича Черкасского гораздо прежде его трудов в Польше имели первого дальнозоркого, деятельного и притом самоотверженного и бескорыстнейшего представителя в лице Ивана Фомича Самбурского. Таких людей достойно знать и в известных случаях жизни подражать им, если есть сила вместить благородный патриотический дух, который согревал их сердце, окрылял слово и руководил поступками.

Впервые опубликовано – сборник «Три праведника и один Шерамур», СПб., 1880.

Несмертельный Голован (Из рассказов о трех праведниках)

*Совершенная любовь изгоняет страх.
Иоанн.*

Глава первая

Он сам почти миф, а история его – легенда. Чтобы повествовать о нем – надо быть французом, потому что одним людям этой нации удастся объяснить другим то, чего они сами не понимают. Я говорю все это с тою целию, чтобы вперед испросить себе у моего читателя снисхождения ко всестороннему несовершенству моего рассказа о лице, воспроизведение которого стоило бы трудов гораздо лучшего мастера, чем я. Но Голован может быть скоро совсем позабыт, а это была бы утрата. Голован стоит внимания, и хотя я его знаю не настолько, чтобы мог начертать полное его изображение, однако я подберу и представлю некоторые черты этого не высокого ранга смертного человека, который сумел прослыть *«несмертельным»*.

Прозвище «несмертельного», данное Головану, не выражало собою насмешки и отнюдь не было пустым, бессмысленным звуком – его прозвали несмертельным вследствие сильного убеждения, что Голован – человек особенный; человек, который не боится смерти. Как могло сложиться о нем такое мнение среди людей, ходящих под богом и всегда помнящих о своей смертности? Была ли на это достаточная причина, развившаяся в последовательной условности, или же такую кличку ему дала простота, которая сродни глупости?

Мне казалось, что последнее было вероятнее, но как судили о том другие – этого я не знаю, потому что в детстве моем об этом не думал, а когда я подрос и мог понимать вещи – «несмертельного» Голована уже не было на свете. Он умер, и притом не самым опрятным образом: он погиб во время так называемого в г. Орле «большого пожара», утонув в кипящей ямине, куда упал, спасая чью-то жизнь или чье-то добро. Однако «часть его большая, от тлена убежав, продолжала жить в благодарной памяти», и я хочу попробовать занести на бумагу то, что я о нем знал и слышал, дабы таким образом еще продлилась на свете его достойная внимания память.

Глава вторая

Несмертельный Голован был простой человек. Лицо его, с чрезвычайно крупными чертами, врезалось в моей памяти с ранних дней и осталось в ней навсегда. Я его встретил в таком возрасте, когда, говорят, будто бы дети еще не могут получать прочных впечатлений и износить из них воспоминаний на всю жизнь, но, однако, со мною случилось иначе. Случай этот отмечен моею бабушкою следующим образом:

«Вчера (26 мая 1835 г.) приехала из Горохова к Машеньке (моей матери), Семена Дмитрича (отца моего) не застала дома, по командировке его в Елец на следствие о страшном убийстве. Во всем доме были одни мы, женщины и девичья прислуга. Кучер уехал с ним (отцом моим), только дворник Кондрат оставался, а на ночь сторож в переднюю ночевать приходил из правления (губернское правление, где отец был советником). Сегодняшнего же числа Машенька в двенадцатом часу пошла в сад посмотреть цветы и кануфер полить и взяла с собой Николушку (меня) на руках у Анны (пояныне живой старушки). А когда они шли назад к завтраку, то едва Анна начала отпирать калитку, как на них сорвалась цепная Рябка, прямо с цепью, и прямо кинулась на грудцы Анне, но в ту самую минуту, как Рябка, опершись лапами, бросился на грудь Анне, Голован схватил его за шиворот, стиснул и бросил в погребное тво-рило. Там его и пристрелили из ружья, а дитя спаслось».

Дитя это был я, и как бы точны ни были доказательства, что полутораговой ребенок не может помнить, что с ним происходило, я, однако, помню это происшествие.

Я, конечно, не помню, откуда взялась взбешенная Рябка и куда ее дел Голован, после того как она захрипела, барахтаясь лапами и извиваясь всем телом в его высоко поднятой железной руке; но я помню момент... *только момент*. Это было как при блеске молоньи среди темной ночи, когда почему-то вдруг видишь чрезвычайное множество предметов зараз: занавес кровати, ширму, окно, вздрогнувшую на жердочке канарейку и стакан с серебряной ложечкой, на ручке которой пятнышками осела магnezия. Таково, вероятно, свойство страха, имеющего большие очи. В одном таком моменте я как сейчас вижу перед собою огромную собачью морду в мелких пестринах – сухая шерсть, совершенно красные глаза и разинутая пасть, полная мутной пены в синеватом, точно на помаженном зеве... оскал, который хотел уже защелкнуться, но вдруг верхняя губа над ним вывернулась, разрез потянулся к ушам, а снизу судорожно задвигалась, как голый человеческий локоть, выпятившаяся горловина. Надо всем этим стояла огромная человеческая фигура с огромною головою, и она взяла и понесла бешеного пса. Во все это время лицо человека *улыбалось*.

Описанная фигура был Голован. Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу.

В нем было, как в Петре Великом, пятнадцать вершков; сложение имел широкое, сухое и мускулистое; он был смугл, круглолиц, с голубыми глазами, очень крупным носом и толстыми губами. Волосы на голове и подстриженной бороде Голована были очень густые, цвета соли с перцем. Голова была всегда коротко острижена, борода и усы тоже стриженные. Спокойная и счастливая улыбка не оставляла лица Голована ни на минуту: она светилась в каждой черте, но преимущественно играла на устах и в глазах, умных и добрых, но как будто немножко насмешливых. Другого выражения у Голована как будто не было, по крайней мере я иного не помню. К дополнению этого неискусного портрета Голована надо упомянуть об одной странности или особенности, которая заключалась в его походке. Голован ходил очень скоро, всегда как будто куда-то поспешая, но не ровно, а с подскоком. Он не хромал, а, по местному выражению, «шкандыбал», то есть на одну, на правую ногу наступал твердою поступью, а с левой подпрыгивал. Казалось, что эта нога у него не гнулась, а пружинила где-то в мускуле или в суставе. Так ходят люди на искусственной ноге, но у Голована она была не искусственная; хотя,

впрочем, эта особенность тоже и не зависела от природы, а ее устроил себе он сам, и в этом была тайна, которую нельзя объяснить сразу.

Одевался Голован мужиком – всегда, летом и зимою, в пеклые жары и в сорокаградусные морозы, он носил длинный, нагольный овчинный тулуп, весь промасленный и почерневший. Я никогда не видал его в другой одежде, и отец мой, помню, частенько шутил над этим тулупом, называя его «вековечным».

По тулупу Голован подпоясывался «чекменным» ремешком с белым сбруйным набором, который во многих местах пожелтел, а в других – совсем осыпался и оставил наружу дратву да дырки. Но тулуп содержался в опрятности от всяких мелких жильцов – это я знал лучше других, потому что я часто сиживал у Голована за пазухой, слушая его речи, и всегда чувствовал себя здесь очень покойно.

Широкий ворот тулупа никогда не застегивался, а, напротив, был широко открыт до самого пояса. Здесь было «недро», представлявшее очень просторное помещение для бутылок со сливками, которые Голован поставлял на кухню Орловского дворянского собрания. Это был его промысел с тех самых пор, как он «вышел на волю» и получил на разживу «ермоловскую корову».

Могучую грудь «несмертельного» покрывала одна холщовая рубашка малороссийского покроя, то есть с прямым воротом, всегда чистая как кипень и непременно с длинной цветною завязкою. Эта завязка была иногда лента, иногда просто кусок шерстяной материи или даже ситца, но она сообщала наружности Голована нечто свежее и джентльменское, что ему очень шло, потому что он в самом деле был джентльмен.

Глава третья

Мы были с Голованом соседи. Наш дом в Орле был на Третьей Дворянской улице и стоял третий по счету от берегового обрыва над рекою Орликом. Место здесь довольно красиво. Тогда, до пожаров, это был край настоящего города. Вправо за Орлик шли мелкие хибары слободы, которая примыкала к коренной части, оканчивавшейся церковью Василия Великого. Сбоку был очень крутой и неудобный спуск по обрыву, а сзади, за садами, – глубокий овраг и за ним степной выгон, на котором торчал какой-то магазин. Тут по утрам шла солдатская муштра и палочный бой – самые ранние картины, которые я видел наблюдал чаще всего прочего. На этом же выгоне, или, лучше сказать, на узкой полосе, отделявшей наши сады заборами от оврага, паслись шесть или семь коров Голована и ему же принадлежавший красный бык «ермоловской» породы. Быка Голован содержал для своего маленького, но прекрасного стада, а также разводил его в поводу «на подержанье» по домам, где имели в том хозяйственную надобность. Ему это приносило доход.

Средства Голована к жизни заключались в его удоистых коровах и их здоровом супруге. Голован, как я выше сказал, поставлял на дворянский клуб сливки и молоко, которые славились своими высокими достоинствами, зависевшими, конечно, от хорошей породы его скота и от доброго за ним ухода. Масло, поставляемое Голованом, было свежо, желто, как желток, и ароматно, а сливки «не текли», то есть если оборачивали бутылку вниз горлышком, то сливки из нее не лились струей, а падали как густая, тяжелая масса. Продуктов низшего достоинства Голован не ставил, и потому он не имел себе соперников, а дворяне тогда не только умели есть хорошо, но и имели чем расплачиваться. Кроме того, Голован поставлял также в клуб отменно крупные яйца от особенно крупных голландских кур, которых водил во множестве, и, наконец, «приготовлял телят», отпаивая их мастерски и всегда ко времени, например к наибольшему съезду дворян или к другим особенным случаям в дворянском круге.

В этих видах, обуславливающих средства Голована к жизни, ему было очень удобно держаться дворянских улиц, где он продовольствовал интересных особ, которых орловцы некогда узнавали в Паншине, в Лаврецком и в других героях и героинях «Дворянского гнезда».

Голован жил, впрочем, не в самой улице, а «на отлете». Постройка, которая называлась «Головановым домом», стояла не в порядке домов, а на небольшой террасе обрыва под левым рядом улицы. Площадь этой террасы была сажен в шесть в длину и столько же в ширину. Это была глыба земли, которая когда-то поехала вниз, но на дороге остановилась, окрепла и, не представляя ни для кого твердой опоры, едва ли составляла чью-нибудь собственность. Тогда это было еще возможно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.